МАРШАЛ В ЧУЖОМ МУНДИРЕ

3

ЧУЖАЯ СТОЛИЦА



АЛЕКСАНДР ФРОСТ

Александр Фрост

Маршал в чужом мундире
3. Чужая столица

«Автор»
2026

Фрост А.

Маршал в чужом мундире 3. Чужая столица / А. Фрост — «Автор», 2026 — (Маршал в чужом мундире(полный))

Две войны я выиграл — и обе не пушками, а чужой канцелярией: кличками вместо разведки, ведомостями вместо манёвра, реестром исполнителей вместо возмездия.Теперь мне говорят, что войны больше не будет. Будет стол.Меня везут в чужую столицу вице-адмиралом и вторым лицом делегации. В багаже — том с четырьмя тысячами одиннадцатью именами угнанных и триста шестьдесят два номера эшелонов, показывающих, куда именно их увезли. Это моё единственное оружие. Это же — единственное, чем меня заставят торговать.Маршалов в Конкордате не осталось: Ланца сдали в комиссию, Обрехта отозвали, комиссара Хааса съело собственное ведомство. На их месте — генеральный комиссар Ханс Ройтер. У нашей разведки на него есть должность и фамилия. И ни одной строки, написанной им самим.За две жизни я дал клички ста девятнадцати чужим командующим и ни разу не ошибся дольше чем на квартал. Кличка — это диагноз, а диагноз ставят по тому, как человек говорит.Этот пока не сказал ни слова.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Четыре месяца сроку 5
Глава 2. Школа для переговоров 14
Глава 3. Западные вести 21
Глава 4. Проводы с Крайнего 27
Глава 5. Граница метрополии 33
Глава 6. Чужая столица 39
Глава 7. Первое заседание 45
Глава 8. Пункт первый гуманитарный 50
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Александр Фрост
Маршал в чужом мундире 3. Чужая столица

Глава 1. Четыре месяца сроку

Я тридцать один раз заканчивал кампанию и одиннадцать раз участвовал в том, что за этим следует.

И вот что я вынес из этих одиннадцати раз: конец войны — самая опасная часть войны.

Пока идёт кампания, у командующего есть противник, задача и время, и все три величины измеримы. Как только начинаются переговоры, противник перестаёт быть противником и становится стороной, задача перестаёт быть задачей и становится позицией, а время, единственное, чем я всегда воевал, перестаёт принадлежать кому бы то ни было и начинает принадлежать тем, кто дальше всех от фронта.

Я знал это заранее. Я даже, помнится, объяснял это штабу на второй неделе после Гердана, довольно складно, с примерами.

И всё равно попался, и попался в первый же месяц, потому что знать заранее и быть готовым — это, господа, две разные вещи, и вторая не выводится из первой ни при какой сообразительности.

Указ о производстве пришёл на двадцать четвёртые сутки после занятия Гердана.

Пухов принёс его вместе с обычной почтой, и я в первый момент не понял, что это, потому что читал в тот час сводку по регенерационным картриджам и был занят мыслью о том, что первое производство на Астрахани-Дальней даёт брак в двадцать один процент.

«Контр-адмирал Нахимов Дмитрий Александрович производится в вице-адмиралы за отличие, с назначением командующим Северным направлением».

Я прочёл, положил и вернулся к картриджам.

Через минуту поднял голову.

Пухов стоял.

— Семён Семёнович, вы почему стоите?

— Потому что я, господин вице-адмирал, — сказал Пухов, — двенадцать лет писал рапорты о недостачах и один раз в жизни хочу постоять, пока начальство читает указ.

— Садитесь.

— Не сяду, — сказал Пухов. — Я, извините, ещё и поздравлю. Один раз, коротко, и больше не буду весь год.

— Поздравляйте.

— Поздравляю, — сказал Пухов и сел.

Штофу я объявил сам, потому что иначе он объявил бы себе сам и с музыкой.

— Карл. Указ пришёл. Производство.

Штоф встал, вытянулся и произнёс с чувством:

— Ваше превосходительство!

— Не начинайте.

— Ваше превосходительство, — сказал Штоф с ещё большим чувством, — я двадцать лет вру профессионально, и вот вам чистая правда: это первое обращение за всю мою службу, которое мне приятно произносить. К прочим превосходительствам я обращался по нужде.

— Карл.

— Молчу, ваше превосходительство.

Он не молчал три недели.

Марфа Игнатьевна отреагировала иначе.

Она пришла на второй день, поставила на стол тарелку и сказала:

— Ешь.

— Марфа Игнатьевна, я обедал.

— Ты обедал в одиннадцать, а сейчас пятый час, — произнесла она. — Митенька, я тебе одно скажу и уйду. Тебя нынче произвели, и все ходят радуются, и правильно. А я вот на что смотрю: у тебя за месяц лицо стало серое. Ты войну кончил и думаешь, что теперь легче. А тебе не легче, я вижу.

Я подумал.

— Не легче, Марфа Игнатьевна.

— Ну вот, — проговорила она. — Так ты ешь.

Вице-адмирал Гурьев сдавал дела шесть суток.

Сдавал он их так, как делал всё: без единого лишнего слова, по описи, с папками, разложенными в порядке, который он объяснил один раз, а дальше не повторял.

На шестые сутки он вызвал меня на «Пересвет» — в последний раз, потому что «Пересвет» уходил на запад через двенадцать часов, — и в салоне, где по-прежнему не было ничего, кроме стола, планшета и стеллажа, стояли теперь два ящика с делами и лежала на столе одна папка.

— Садитесь, — произнёс Гурьев. — Дела приняты, акт подписан, формальности кончены. Теперь то, чего в акте нет.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Прекратите, — проговорил Гурьев. — Мы равны по чину со вчерашнего дня. Меня зовут Модест Павлович.

Я, признаться, не сразу нашёлся.

— Слушаю, Модест Павлович.

— Первое. — Он положил ладонь на стол. — Западное направление. Я туда еду, и еду не с лёгким сердцем: там Веннен, он лучше, чем о нём пишут, и он третий месяц выдавливает Дурова с Сурама. Мне дадут двадцать девять вымпелов пополнения и вашу школу — я забираю у вас двенадцать выпускников четвёртого и пятого потоков, список у Пухова, и это, Дмитрий Александрович, единственное, что я у вас увожу, и я это увожу потому, что там их некому заменить.

— Забирайте, Модест Павлович.

— Уже забрал, — сказал Гурьев. — Я вам сообщаю, а не спрашиваю. Второе.

Он придвинул папку.

— Здесь всё, что я собрал по переговорам за три месяца. Переписка со Строевым, справки, состав их делегации в той части, в какой он известен, и мои соображения — двадцать один лист, помечены отдельно, читайте последними и с недоверием, потому что я в этом деле не специалист.

— А кто специалист?

— Никто, — ответил Гурьев. — В этом всё несчастье. Дмитрий Александрович, у империи семнадцать лет не было переговоров, и последние вёл человек, который умер в позапрошлом году. Вас с Строевым посылают вдвоём не потому, что вы лучшие, а потому, что других нет.

Он налил себе воды из графина. Стакан был один; второго в салоне не водилось.

— Третье, — заметил Гурьев. — И вот тут слушайте внимательно, потому что это единственное, чем я могу быть вам полезен. Я служу не первый десяток лет, из них восемь просидел в ставке и в комиссиях, и знаю про такие столы одну вещь, которой вы не знаете, при всём вашем... — он поискал слово, — при всём вашем опыте.

— Какую?

— Вас там не будут переспоривать, — отозвался Гурьев. — Вас там будут изнурять.

Я слушал.

— Вы привыкли, что противник принимает решения, — сказал Гурьев. — Хорошие, плохие, но принимает: Ланц решил, Обрехт решил, я решил. За столом решений не принимают. За столом откладывают. Вам вынесут вопрос, обсудят его четыре часа, отложат до уточнения формулировки, потом ещё раз, потом уточнят формулировку и обнаружат, что изменилась обстановка. Через два месяца вы поймёте, что не проиграли ни одного спора и не выиграли ни одного пункта.

— Средство? — спросил я.

— Средства нет, — продолжил Гурьев. — Есть только одно правило, и оно моё, выстраданное. Приезжая на такой стол, назначьте себе заранее, до первого заседания, чего именно вы не отдадите ни при каких обстоятельствах. Запишите это на бумаге, дайте кому-нибудь на хранение и больше к списку не возвращайтесь. Иначе через три месяца вы будете торговаться за то, за что три месяца назад не согласились бы и обсуждать.

— Сколько пунктов?

— Не больше трёх, — сказал Гурьев. — Четыре — уже позиция, а позицию сдают по частям. Три — это то, за что можно встать и уехать.

Он допил воду.

— И четвёртое, — добавил Гурьев. — Личное. Я вам полгода назад сказал, что вы превратили театр в благотворительное учреждение, при котором состоит флот.

— Помню, Модест Павлович.

— Я от этих слов не отказываюсь. — Он посмотрел в сторону. — Я их уточню. — Он посмотрел на меня. — Я приехал сюда убеждённый, что войну выигрывают разгромом армии противника, и уезжаю, убеждённый в том же самом: я видел под Створом, чем кончается, когда её не разгромили, и через полгода эти шестьдесят шесть вымпелов будут стоять против нас на границе. Я по-прежнему считаю, что вы их выпустили зря.

— Я знаю.

— Знаете, — согласился он. — И всё-таки я вам скажу вот что. За полгода на этом театре я подписал три бумаги, каких не подписывал за двадцать лет: приказ о штате двухсот старших по кварталам, представление поварихи к должности и распоряжение о внесении тома вашего интенданта в условия мира. И вот тут, Дмитрий Александрович, у меня к вам вопрос, единственный за всю службу, на который мне нужен честный ответ, а не служебный.

— Спрашивайте.

— Вы меня переубедили или обыграли? — спросил Гурьев.

Я подумал.

На такие вопросы есть ровно один правильный ответ, и он всегда неприятен обоим.

— Обыграл, Модест Павлович, — начал я. — В первом случае и во втором. Я знал, что вы человек, которого можно взять фактом, и подавал вам факты в том порядке, в каком они действуют. Это приём, и я его применял к вам сознательно, с первого дня.

Гурьев кивнул.

— А в третьем? — спросил он. — С томом?

— В третьем — нет, — ответил я. — В третьем я ничего не делал. Вы забрали том у меня сами и объяснили мне зачем, и объяснение было такое, до которого я за два года не додумался. Модест Павлович, я вам тогда сказал «благодарю», и вы велели не благодарить. Так вот я всё-таки поблагодарю сейчас, когда вы уезжаете и не сможете возразить: вы сделали единственную вещь, которую я не мог сделать сам. Вы отвязали дело от моей фамилии.

Гурьев довольно долго молчал.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Тогда последнее.

Он достал из ящика стола тонкую тетрадь в клеёнчатом переплёте.

— Мой флаг-офицер вёл запись всех моих разговоров и решений на этом театре, — пояснил он. — Полгода, четыреста одиннадцать записей. Я всегда веду запись — вы это заметили в первый же день, я помню ваше лицо. — Он положил тетрадь на папку. — Забирайте. Там есть места, где я о вас отзываюсь скверно, и я их не вымарывал.

— Зачем она мне, Модест Павлович?

— Затем, что вы едете к человеку, который не пишет, — ответил Гурьев. — Ханс Ройтер за двадцать лет не оставил ни строки. Дмитрий Александрович, вы читаете людей по тому, как они говорят. Против вас впервые выставили того, кто молчит. Значит, читать вам придётся не его, а то, что вокруг него: кто за него подписывает, кто за него говорит, кто ведёт его записи. У всякого молчащего есть писарь. Найдите писаря.

Он встал.

— И ещё, — уточнил Гурьев. — Флот метрополии.

— Слушаю.

— После светлейшего князя он подчинён вам напрямую, командующего нет и в ближайший год не будет: столица не пришлёт, там сейчас не до того. — Он посмотрел мне в глаза. — Восемь тяжёлых кораблей, из них два в ремонте. Дмитрий Александрович, вы за два года на этом театре ни разу не командовали тяжёлыми и, по моим наблюдениям, их не любите. Научитесь. На следующей войне вам никто не даст воевать хитростью: против ведомства безопасности хитрость не работает, у них своя, лучше.

Он подал руку — впервые за полгода.

— Прощайте, — сказал Гурьев. — Мы с вами, полагаю, ещё встретимся, и, боюсь, при обстоятельствах, которые нам обоим не понравятся.

«Пересвет» ушёл на запад через двенадцать часов, и вместе с ним ушли двадцать девять вымпелов пополнения, которых я так и не увидел в деле, и двенадцать выпускников школы, из которых до конца войны дожили семеро.

Направление я принял двадцать восьмого числа.

Ольсен доложил состав в тот же день, и доклад его я привожу почти целиком, потому что без этих цифр непонятно, чем я располагал, входя в самую тяжёлую кампанию обеих моих жизней.

— Ваше превосходительство. Боевой состав направления на текущую дату.

— Мичман, — сказал я, — вот что. С сегодняшнего дня вы капитан-лейтенант, приказ подписан вчера, и обращаться ко мне «ваше превосходительство» в служебном обиходе я запрещаю: у нас на театре два года говорили «господин командующий», и менять я это не намерен.

— Есть, господин командующий, — сказал Ольсен, и я по лицу его увидел, что производство для него новость.

— Докладывайте.

— Боевой состав. — Он сел ровнее. — Семьдесят один вымпел, из них тяжёлых восемь, два в ремонте на Астрахани-Дальней. Соединение театра — тридцать девять единиц под командованием капитана первого ранга Ланского. Группа перехвата — одиннадцать, капитан-лейтенант Одинцов. Силы метрополии — восемь тяжёлых и тринадцать лёгких, командующего нет, подчинены вам напрямую.

— Дальше.

— Узлы: Крайний, Астрахань-Дальняя, Вязье, Гердан-Южная, Гердан-Северный, Штерн — принят по соглашению об отходе, — Хорн, Кемь-Транзитная. Восемь узлов, из них четыре с полным циклом.

— Тыл.

— Управление расселения театра — сто сорок девять тысяч двести человек в одиннадцати ярусах и шесть тысяч двести девять в Гердане, начальник управления Гурова, — сказал

Ольсен, и я отметил, что он произнёс это без тени улыбки, потому что уже полгода никому на театре не приходило в голову улыбаться. — Доковое и ремонтное хозяйство — Лемех, три базы, одновременная постановка двенадцать корпусов. Энергетическое — Пров, восемь узлов, четыре подстанции восстановлены. Школа — шесть потоков, за вычетом двенадцати выпускников, забранных вице-адмиралом Гурьевым, — сорок один преподаватель и триста восемьдесят курсантов.

— Реестр и тома.

— Реестр противника — четыреста девяносто одна фамилия, ведётся имперским особым делопроизводством, у нас копия и право внесения, — сказал Пухов, вступая. — Том «Списки на возврат» — четыре тысячи одиннадцать имён, размещение установлено по трём тысячам восьмистам сорока четырём. Тетрадь «Кого ждут» — две тысячи двести шестьдесят четыре семьи. Раздел «Кто остался» — закрыт, кроме четырёх фамилий. Лист «Дело Волчицы» — пять строк. Лист «Те, на кого можно опереться после войны» — сорок одна запись.

— Сорок одна? — переспросил я. — Было девять.

— Прибавилось тридцать две за квартал, господин командующий, — повторил Пухов. — В основном по Гердану. Я вношу по мере установления.

— Правильно вносите. Теперь западное направление, Ольсен. Всё, что есть.

Ольсен перевернул лист, и по тому, как он его перевернул, я понял, что дальше будет плохо.

— По донесениям штаба флота и по перехватам, — возразил он. — Группа Веннена наступает на Сурамском направлении третий месяц. Адмирал Дуров оставил четыре узла и отошёл к Сураму. Узел «Замок» — то есть система обороны Сурама — приведён в готовность к осаде. По оценке штаба флота, при нынешнем темпе противник выйдет к Сураму через шесть-восемь недель.

Я подошёл к карте.

— То есть, — сказал я, — пока мы очищали север, запад развалился.

— Так точно.

— И теперь империя идёт к столу не потому, что победила. А потому, что на западе плохо, и надо остановить войну хотя бы на одном театре.

В штабе стало тихо.

— Господа, — пояснил я. — Я хочу, чтобы это было произнесено вслух и занесено, потому что через двадцать лет напишут иначе. Северная кампания выиграна. Война — нет. Наш выигрыш нужен империи не как победа, а как разменная монета: она поедет торговать нашим севером за передышку на западе.

— И что мы делаем? — спросил Бурый.

Захар Бурый сидел в кресле начальника штаба направления третьи сутки, произведённый указом одновременно со мной, и по-прежнему смотрел на меня с обычным своим спокойствием, из-за которого я два года назад его и взял.

— Мы делаем то, чего никогда не делали, Захар, — произнёс я. — Мы будем готовиться к переговорам как к кампании.

Штаб поднял на меня глаза.

— Излагаю замысел, — сказал я и подошёл к карте, на которой не было ни одного нужного мне объекта, потому что все они находились в чужой столице. — До выезда делегации — четыре месяца. За эти четыре месяца мы обязаны сделать пять вещей, и я их перечислю по порядку.

Пухов открыл лист.

— Первое. Разведка. Ольсен, вам главная задача направления: генеральный комиссар Ханс Ройтер. Всё. Биография, служба, семья, привычки, кем поставлен, кому обязан. И, капи-

тан-лейтенант, отдельным пунктом и с наивысшим приоритетом: кто за него пишет. У всякого молчащего есть писарь. Найдите писаря.

— Источники?

— Все, — отозвался я. — Перехваты, нейтральные, портовая пресса Конкордата, наши пленные, их пленные, майор Бенц по протокольной линии, если он там уцелел. И Мерц.

Ольсен поднял голову.

— Полковник Мерц, господин командующий? Он два года как в столице, при маршале Ланце.

— При маршале Ланце, который сидит в комиссии, где доживают. Ольсен, этот человек четыре года вёл дневник, в котором записывал, как проигрывают. Такие люди не перестают писать. Найдите способ узнать, что он пишет теперь.

— Второе. — Он выдержал паузу. — Правовая подготовка. Прокурор: мне нужен полный свод по возврату гражданских лиц — имперское право, их уложение, конвенции, прецеденты за сто лет. Не для того, чтобы их убеждать: убеждать я буду сам. Для того, чтобы всякая моя фраза за столом имела под собой статью, а всякий их отказ — противоречие.

— Третье. Том. — Я повернулся к Пухову. — Семён Семёнович, четыре тысячи одиннадцать имён и триста шестьдесят два номера эшелона должны быть приведены в состояние, в котором ни один чиновник ни одной страны не найдёт к чему придраться. Проверка по каждой фамилии: где записано, кем подтверждено, чем доказано. Мне не нужен красивый том. Мне нужен том, который выдержит перекрёстную проверку враждебной комиссии.

— Срок? — спросил Пухов.

— Три месяца, — проговорил я. — И, Семён: ассистентов берите сколько нужно, хоть сорок человек. Аста Ковач переводится в вашу группу с сохранением обязанностей при управлении расселения — я с Марфой Игнатьевной договорюсь.

— Не договоритесь, — ответил Пухов.

— Договорюсь. У меня есть довод: я ей отдам кота.

— Четвёртое, — начал я. — Театр. Захар, на вас всё, что остаётся здесь, а остаётся почти всё. Пока я буду сидеть за столом, направление обязано быть готовым к тому, что стол кончится ничем. Планы обороны, планы наступления, планы эвакуации — три комплекта, на все случаи, к моему отъезду. И тяжёлые силы метрополии: восемь кораблей, из них два в ремонте, командующего нет. Ланской принимает их временно.

— Господин командующий, — сказал Ланской, — я в жизни не командовал тяжёлым.

— Я тоже, капитан первого ранга. Ни разу, и мне это вчера поставили в укор, и укор был справедлив. Так что будем учиться оба: вы практически, я теоретически, потому что у меня четыре месяца и стол.

— И пятое.

Я взял чистый лист и положил перед собой.

— Вице-адмирал Гурьев дал мне единственный совет по этой части, и совет был такой: до первого заседания назначить себе, чего не отдам ни при каких обстоятельствах. Записать, отдать на хранение и больше к списку не возвращаться. Не больше трёх пунктов, потому что четыре — это уже позиция, а позицию сдают по частям.

Штаб молчал.

— Я это сделаю сегодня, при вас, — сказал я, — и отдам на хранение Семёну Семёновичу, потому что он единственный человек на театре, который не отдаст мне бумагу обратно, если я приду за ней в дурную минуту.

— Не отдам, — подтвердил Пухов.

Я писал минуты три.

Потом прочёл вслух.

— «Не отдам ни при каких обстоятельствах.

Первое. Возврат угнанных. Все четыре тысячи одиннадцать, поимённо, без размена на что бы то ни было, без деления на категории и без исключения тех, чья судьба не установлена.

Второе. Реестр. Ведение и предъявление сохраняются; ни одна фамилия не вычёркивается по соглашению, включая фамилии тех, кто к тому времени умрёт или окажется полезен.

Третье. Ни один человек не покупается ценой другого человека. Ни в какой форме, ни при каком соотношении, ни ради кого».

Я подписал, поставил дату и подвинул лист Пухову.

— Господин командующий, — сказал Ольсен. — Разрешите вопрос.

— Разрешаю.

— Третий пункт, — подтвердил Ольсен. — Он касается адмирала Корвель?

Штаб очень старательно смотрел в сторону.

— Он касается адмирала Корвель, — сказал я, — которая сидит в крепости метрополии, пять лет по приговору, и которую мне за этим столом предложат первой, потому что они не идиоты и потому что моё имя стоит на акте о её передаче, а акт публиковали в трёх изданиях. Он касается тысячи девятисот двенадцати человек, которых угнали в метрополию и за которых мне предложат уступку. Он касается всякого, кого мне за эти месяцы захотят продать по одному.

Я посмотрел на штаб.

— И записан он третьим, — сказал я, — потому что он единственный из трёх, который придётся исполнять против самого себя. Первые два я исполню легко: там противник. Третий — там я.

Письмо от Аркадия пришло вечером того же дня.

«Дмитрий.

Поздравляю с производством, хотя ты, я знаю, отнесёшься к этому как к строке в ведомости. Дом отправит официальное поздравление по всей форме, его составит секретарь, и оно будет отвратительно; это я тебе пишу отдельно, чтобы ты не думал, будто я к нему причастен.

Теперь по делу, и дело плохое.

Николенька на Сураме. Ты это знаешь. Чего ты не знаешь: три недели назад он подал рапорт о переводе из штаба в строевые и подал его, когда адмирал Дуров отошёл к Сураму и начал готовить оборону.

Рапорт удовлетворён. Он на "Стерегущем-втором", вахтенным офицером.

Брат, я употребил всё влияние Дома, чтобы он сидел в штабе, и влияния хватило ровно на четыре месяца. Больше не хватит: он совершеннолетний, война, и всякий, к кому я обращусь, теперь вправе спросить меня, отчего Дом Нахимовых, потерявший шестерых, седьмого прячет.

Я не прошу тебя вмешиваться. Ты на другом театре, и твоё вмешательство ему только повредит.

Я пишу, чтобы ты знал: нас двое, и второй сидит в осаждённом узле.

И ещё одно, и оно совсем не про Николеньку.

В столице говорят о переговорах. Говорят много и говорят гадко: что север разменяют, что мир будет позорный, что "герой севера" поедет подписывать капитуляцию. Тебя, брат, уже пишут в двух видах сразу: в газетах — как победителя, в гостиных — как человека, которого посылают отдавать выигранное.

Я, как распорядитель Дома, обязан тебя спросить прямо, потому что мне через месяц отвечать на это в лицо: ты едешь торговать или ты едешь стоять?

Ответь коротко. Мне довольно одного слова.

Аркадий».

Я ответил в тот же вечер.

«Аркадий.

Одного слова не будет: коротко получится красиво, а красиво в таких делах всегда враньё.

Отвечаю как есть, в трёх строках.

Я еду торговать. Империя посылает меня к столу не от силы, а от того, что на западе плохо, и я это знаю точнее, чем твои гостиные.

Я еду стоять. У меня записаны три пункта, которые я не отдам ни при каких обстоятельствах, и лист лежит на хранении у человека, который не вернёт его мне, если я приду за ним в дурную минуту.

Разница между первым и вторым, брат, и есть моя должность. Всё остальное — литература.

Про Николеньку. Не вмешиваюсь и вмешиваться не буду; ты прав, я бы ему только повредил. Сделал одно, о чём сообщаю тебе, а не ему: я запросил у штаба флота включение "Стерегущего-второго" в перечень бортов, по которым мне идут суточные сводки. Это ничего не меняет, кроме одного — я буду знать в тот же день, а не через три недели.

Он тебя не простит ещё года три, а потом простит.

Д.»

Ночью я поднялся в верхнюю галерею городской управы Гердана, где мы держали штаб, — там холоднее всего и туда никто не ходит.

Марфа Игнатьевна нашла меня через двадцать минут, с кружкой.

Она третий месяц была начальником управления расселения театра, ходила с папкой, которую за ней носила Аста Ковач, подписывала в сутки по сорок бумаг, прочитанных ей вслух, — и по-прежнему знала, в каком месте искать командующего в первом часу ночи.

— Брат? — спросила она.

— Брат, Марфа Игнатьевна.

— Который?

— Младший, — ответил я. — Семнадцать лет. Перевёлся из штаба на корабль, в узел, который через шесть недель будут осаждать.

Она поставила кружку.

— Дурак, — ответила она.

— Дурак, — согласился я.

— А ты бы на его месте?

Я подумал.

— И я бы, — сказал я.

— Ну вот, — сказала Марфа Игнатьевна. — Значит, порода. Тут уж ничего не сделаешь, Митенька, порода — она сильнее приказа. — Она помолчала. — Ты пей.

Я допил.

— Марфа Игнатьевна, у меня к вам дело, и оно неприятное. Мне на три месяца нужна Аста Ковач, целиком, к Пухову.

— Знаю. Мне Семён Семёныч ещё вчера сказал, он человек честный, не крадёт.

— И?

— И бери, — ответила она. — Только ты мне за это кота отдай.

— Кот ваш. С довольствием, по вольнонаёмному ведомству.

— Вот теперь разговор, — сказала Марфа Игнатьевна и забрала кружку.

Она дошла до двери и обернулась.

— Митенька. Ты вот чего. Ты, как поедешь в ихнюю столицу, — ты там не смотри на них как на врагов.

Я поднял голову.

— Это вы к чему, Марфа Игнатьевна?

— А к тому, — сказала она, — что враг — это которого бить надо. А тебе с ними за одним столом сидеть и наших выпрашивать. Ты, Митенька, у нас человек умный, ты их насквозь видишь, и вот я боюсь: сядешь ты, посмотришь на них, поймёшь, что они гады, — и всё, разговора не будет.

— А как надо?

— А надо как я с кладовщиком, — сказала Марфа Игнатьевна. — Он вор. Он у меня третий год ворует, я это знаю, и он знает, что я знаю. А я с ним всё равно каждое утро здороваюсь и про внучку спрашиваю. Потому что мне от него мешки нужны, а не правда. Правду я после войны скажу.

Она вышла.

Я постоял ещё немного в холодной галерее и пошёл вниз, в штаб, где горел свет, потому что капитан-лейтенант Ольсен на четвёртые сутки после производства начал первую в своей жизни разработку по человеку, о котором было известно две вещи: фамилия и должность.

До выезда делегации оставалось четыре месяца без двух дней.

Глава 2. Школа для переговоров

Подготовку я поставил на три месяца и разбил её так же, как разбивал бы кампанию: разведка, право, документ, репетиция.

Первые три части шли, как положено.

Четвёртая едва не кончилась тем, что я отказался ехать.

Разведка была на Ольсене, и Ольсен работал шестьдесят один день.

К концу этого срока он положил мне на стол папку толщиной в палец и доложил её содержание в четыре минуты, из которых три с половиной ушли на перечисление того, чего в ней нет.

— Господин командующий. Разработка по генеральному комиссару Хансу Ройтеру. Докладываю результат: результата нет.

— Докладывайте подробно.

— Установлено, — сказал Ольсен. — Ханс Ройтер, сорок семь лет. Уроженец метрополии, второй промышленный округ. Образование — правовое, окончил в двадцать четыре. С двадцати пяти на службе в ведомстве безопасности Конкордата, прошёл семь должностей, из них последние три — надзорные. С прошлого года — генеральный комиссар, с чрезвычайными полномочиями по военному управлению.

— Дальше.

— Не установлено, — начал Ольсен. — Семейное положение. Место постоянного проживания. Внешность. Привычки. Голос. Круг лиц, которым обязан назначением. Не установлено также, воевал ли он когда-нибудь и был ли хоть один день в занятых районах.

— Фотография?

— Нет ни одной, господин командующий, — отозвался Ольсен. — Я проверил девять источников, включая четыре нейтральных и портовые издания Конкордата за одиннадцать лет. Его фамилия встречается в печати семь раз, и все семь — в списках присутствовавших, без описания.

— Свидетели?

— Трое, — сказал Ольсен. — Два офицера из числа наших пленных, служивших в метрополии, и один нейтральный чиновник, дававший показания посреднической службе. Все трое видели его на официальных мероприятиях. — Он перевернул лист. — Первый описывает его как человека высокого, худого, лет пятидесяти. Второй — как невысокого, полного, около сорока. Третий не запомнил.

Штаб молчал.

— Ольсен, — заметил я. — Документы за его подписью.

— Вот, — сказал Ольсен, и в голосе у него впервые появилось то, что я у него слышал всего дважды за три года. — Господин командующий, это главное, и я прошу разрешения доложить это отдельно, потому что я потратил на это тридцать суток и потому что я сам себе не поверил.

— Докладывайте.

— За двадцать два года службы, — сказал Ольсен, — генеральный комиссар Ханс Ройтер не подписал ни одного документа.

В штабе стало очень тихо.

— Уточните формулировку, — сказал я.

— Уточняю дословно. В нашем распоряжении есть тексты одиннадцати актов, где он упоминается как лицо, от которого исходит распоряжение. Формулировки: «по указанию генерального комиссара», «во исполнение указания генерального комиссара», «согласно устному распоряжению генерального комиссара». Подпись под каждым актом — чужая. Начальник отдела, комиссар округа, дежурный по управлению.

— Продолжайте.

— Я поднял его карьеру по должностям, — закончил Ольсен. — Господин командующий, семь его повышений совпадают с семью падениями его начальников. Каждый раз механизм один: вышестоящее лицо издаёт распоряжение, распоряжение оказывается вредным, вышестоящее лицо привлекается по подписи, а Ройтер занимает его место. Первое совпадение — случайность. Второе — тоже. Семь совпадений подряд...

— Семь совпадений подряд — это метод, — ответил я.

Я подошёл к схеме, на которой не было ничего нужного.

— Господа. — Я потёр глаза. — Прошу отнестись серьёзно к тому, что я сейчас скажу, потому что это касается всей моей работы за две... за всю мою службу.

Штаб подобрался.

— Три года назад я объявил вам метод. Я сказал: человека читают по тому, как он говорит; кличка — это диагноз; вносите в реестр и заучивайте. За три года метод не подвёл ни разу: Ланц говорил о юбилеях, и это была его смерть; Обрехт говорил о весе; Хаас говорил о виновных; тайный советник Бельский говорил, что не составляет мнений, а составляет опись. Все они себя назвали сами, первой же фразой.

Я закрыл папку Ольсена.

— Этот не говорит, — пояснил я. — Не потому, что скрытен. Потому, что это его должность. Двадцать два года он строил себя так, чтобы не существовать в бумаге, и построил. Против него мой метод не работает, и я сообщаю вам об этом заранее, при всех, чтобы вы не рассчитывали, что командующий, приехав, за неделю придумает кличку и всё станет понятно.

— И что тогда? — спросил Бурый.

— Тогда, Захар, — сказал я, — мы читаем не его. Мы читаем тех, кто вокруг него, потому что человек, который не подписывает, обязан кем-то подписывать. У всякого молчащего есть писарь. — Я повернулся к Ольсену. — Капитан-лейтенант, задача переформулируется. Ройтера оставьте в покое: вы его не возьмёте, и я не возьму. Найдите мне тех, кто ставит подписи. Всех, за пять лет. Мне нужны фамилии, должности и, главное, — что с ними стало потом.

Ольсен уехал в свою аналитическую и вернулся через одиннадцать суток.

— Господин командующий. Установлено сорок девять лиц, подписавших акты «по указанию генерального комиссара» за истекшие пять лет. Из них: привлечены и осуждены — девятнадцать. Отстранены с понижением — четырнадцать. Умерли — трое. Продолжают службу — тринадцать.

— Тринадцать, — произнёс я. — Вот это, капитан-лейтенант, и есть его штаб. Разрабатывайте всех тринадцать. И, Ольсен, отдельно: кто из них ведёт записи.

— Записи?

— Дневники, тетради, журналы, что угодно, — отозвался я. — Ольсен, вспомните: за три года я четыре раза узнавал о противнике больше из чужой личной тетради, чем из ста перехватов. Вокруг всякого молчащего рано или поздно заводится человек, который не может не записывать, — потому что молчание сводит с ума не только нас с вами.

Ольсен вернулся через девять суток и с одной фамилией.

— Полковник Мерц, — произнёс он. — Господин командующий, я обязан оговориться: он не в числе тринадцати и вообще не по ведомству безопасности. Он штабной, из военных. Четыре года при маршале Ланце на Северной группе, потом с ним же в столицу, потом при комиссии.

— Что известно?

— Известно то, что подтверждают трое наших пленных, служивших с ним в разное время, — ответил Ольсен. — Все трое, независимо друг от друга, упоминают одно и то же: полковник Мерц каждый вечер пишет. Не служебное — своё. Один из пленных, штабс-капитан, показал дословно: «У Мерца тетрадь. Мы её называли „поминальник“, потому что он туда

писал после всякого совещания, а совещания у нас были такие, что после них только поминать».

Я сидел довольно долго.

— Ольсен. Где он сейчас?

— Не установлено, господин командующий. При комиссии маршала Ланца его нет, это проверено. С зимы след теряется.

— Ищите, — проговорил я. — Это, капитан-лейтенант, теперь ваша главная задача, важнее тринадцати подписантов. Найдите мне человека с поминальником.

Право было на прокуроре театра, и прокурор превзошёл сам себя.

Он привёз мне свод на двести одиннадцати листах, и в этом своде было ровно одно место, ради которого стоило работать три месяца.

— Господин командующий, — сказал он, — прошу открыть на сорок первом листе. Уложение Конкордата о занятых территориях, раздел четвёртый.

Я открыл.

— Помните, — сказал прокурор, — полтора года назад, по приказу сорок один, Пухов нашёл у них статьи о недопустимости коллективной ответственности, принятые сорок лет назад по итогам их собственной гражданской войны?

— Помню.

— Так вот, — сказал прокурор, — в том же разделе, тремя статьями ниже, есть вот это. — Он положил палец. — «Лица, перемещённые с занятых территорий в порядке трудовой повинности, подлежат возвращению к месту постоянного жительства по прекращении обстоятельств, вызвавших перемещение. Обязанность обеспечения возвращения возлагается на ведомство, осуществившее перемещение».

Я прочёл трижды.

— Прокурор. Это действующая норма?

— Действующая, — отозвался прокурор. — Ни разу не отменённая и ни разу не применённая. Я проверил по их же комментариям: за сорок лет применения не было, потому что не было случая — их прошлая война велась в метрополии.

— То есть, — сказал я медленно, — возврат наших угнанных не является нашим требованием.

— Не является, — сказал прокурор, и в голосе у него появилось торжество, которое он тщательно давил. — Возврат является их собственной обязанностью по их собственному закону. Мы за столом не просим. Мы напоминаем.

Я закрыл свод.

— Занесите в сборник, — проговорил я. — Раздел «Ответы». Формулировка: «Всякое государство когда-нибудь писало закон для себя, потому что было битым. Ищите этот закон: он лежит без применения и ждёт».

Том Пухова готовился три месяца, и о том, как он готовился, я расскажу коротко, потому что подробно — это девятнадцать томов и сорок один человек.

Задачу я поставил так: том должен выдержать перекрёстную проверку враждебной комиссии, ищущей повод его отвергнуть.

Пухов взял сорок одного человека — писарей, выученных им за два года, — и Асту Ковач, и посадил их на сверку.

Проверялась каждая фамилия по четырём признакам: кем заявлена, чем подтверждена, каким номером эшелона вывезена, каким документом установлено размещение.

На семидесятые сутки он пришёл ко мне с докладом, и по лицу его я понял, что доклад плохой.

— Господин командующий. Из четырёх тысяч одиннадцати имён шестьдесят одно не выдерживает проверки.

— Поясните.

— Тридцать четыре заявлены родственниками без подтверждения вторым источником, — сказал Пухов. — Девятнадцать имеют расхождение в написании фамилии между заявлением и эшелонной ведомостью. Восемь заявлены дважды под разными написаниями, то есть это четыре человека, а не восемь. — Он поправил очки. — Итого: шестьдесят одна строка, к которой враждебная комиссия придерётся и придерётся справедливо.

— Что предлагаете?

— Три варианта, господин командующий, — сказал Пухов. — Первый: изъять шестьдесят одну строку из тома, представить три тысячи девятьсот пятьдесят безупречных и не дать им повода. Второй: оставить как есть и объяснять каждую по отдельности, потратив на это половину заседаний. Третий...

Он замолчал.

— Третий, Семён.

— Третий, — сказал Пухов, — вынести их в отдельное приложение, которое я подам сам, первым, до всякого их вопроса. Приложение будет называться «Строки, не выдержавшие проверки, с указанием причин».

Я посмотрел на него.

— Вы хотите отдать им наше слабое место в руки.

— Я хочу отдать им его прежде, чем они его найдут. — Он потёр висок. — Господин командующий, я знаю одну вещь про комиссии: комиссия ищет не ошибку, комиссия ищет сокрытие. Найдёт ошибку — вычеркнет строку. Найдёт сокрытую ошибку — усомнится в томе. — Он положил лист. — А если я сам принесу шестьдесят одну строку и объясню по каждой, что именно не сходится, — они через три заседания перестанут проверять остальные три тысячи девятьсот пятьдесят, потому что убедятся, что проверять некому.

Я подумал.

Я видел четыре по-настоящему великих канцеляриста, и все четверо приходили к этому выводу самостоятельно, и никто из них не мог объяснить, откуда его знает.

— Третий вариант, — продолжил я. — Утверждаю. И, Семён Семёнович: четыре человека, заявленные дважды, — их вы тоже вынесете в приложение?

— Обязательно, — ответил Пухов. — С формулировкой: «Установлено, что данные лица заявлены дважды. Общее число имён в томе уменьшено с четырёх тысяч одиннадцати до четырёх тысяч семи». — Он помолчал. — Господин командующий, мне это тяжелее всего. Я два года писал «четыре тысячи одиннадцать».

— Пишите правильное, Семён. Четыре тысячи семь. Мы не за красивое число едем.

Репетиции я начал на восьмидесятые сутки, и вот тут началось то, чего я не предвидел.

Замысел был обычный, я так делал в прошлой жизни перед всякими сложными переговорами: сажаешь своих на место противника, даёшь им его позицию и играешь заседание, как играют учебный бой.

Штаб отнёсся к затее с интересом. Штоф — с восторгом.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — разрешите мне за Ройтера.

— Разрешаю, Карл.

Первая репетиция кончилась через сорок минут, и кончилась провалом.

Штоф был великолепен. Он был холоден, обтекаем, зловещ и произнёс за сорок минут одиннадцать фраз, каждая из которых была лучше предыдущей. К исходу сорока минут я разобрал его по косточкам, поймал на трёх противоречиях и загнал в угол, из которого он вышел только тем, что засмеялся и признал поражение.

— Ваше превосходительство, — сказал он, отсмеявшись, — я, кажется, понял, в чём беда.

— В чём, Карл?

— Я говорил, — отозвался Штоф. — А он не говорит. Ваше благородие... виноват, ваше превосходительство, вся моя работа состоит из слов. Человека, который молчит, я изобразить не могу: у меня инструмента нет.

— Кто может? — спросил я.

Штаб молчал.

— Я могу, — отозвался Пухов.

Вторая репетиция шла три часа, и я её проиграл.

Пухов сел напротив, положил перед собой папку и открыл заседание.

За три часа он не сказал ни одного слова по существу.

Он говорил: «Вопрос принят к рассмотрению». Он говорил: «Прошу уточнить формулировку пункта, поскольку в представленном виде она допускает двоякое толкование». Он говорил: «Данный вопрос относится к компетенции другого ведомства, запрос будет направлен». Он говорил: «Ваше замечание будет занесено в протокол».

Ни разу — «нет».

Ни разу — «да».

Через три часа мы не продвинулись ни на один пункт, а я обнаружил, что дважды повысил голос и один раз согласился обсудить возврат по категориям, чего не собирался делать вообще.

Я объявил перерыв и вышел в галерею.

Через десять минут туда пришёл Пухов.

— Господин командующий. Разрешите доложить, как я это делал, потому что вам полезнее знать метод, чем результат.

— Докладывайте.

— Я ничего не изобретал. — Он не поднял глаз. — Я писал рапорты о недостачах, и мне отвечали ровно так. Я знаю все семнадцать формулировок наизусть, я их выучил не по книжке, а по своим бумагам. — Он поправил очки. — Господин командующий, я вам должен сказать одну вещь, и она неприятная. Вы за три года ни разу не проиграли противнику, который вам возражал. И вы сегодня трижды проиграли противнику, который вам не возражал.

— Знаю, Семён.

— Я объясню механизм, — сказал Пухов. — Вы воюете возражением. Вам нужно, чтобы противник что-нибудь утверждал: тогда вы находите в утверждении слабое место и бьёте. Ланц утверждал, Обрехт утверждал, Бельский утверждал — он даже про себя утверждал, что не составляет мнений, и вы это использовали. Человек, который ничего не утверждает, не даёт вам точки приложения. Вы бьёте в пустоту, устаёте, начинаете говорить больше, чем нужно, и в конце концов сами делаете утверждение, за которое вас берут.

Я стоял в холодной галерее и, признаться, чувствовал себя очень неуютно.

— Средство, Семён? — спросил я.

Пухов подумал.

— Не знаю, господин командующий, — сказал он честно. — Я знаю только, что мне это средство за двенадцать лет не встретилось. Я всё это время был на вашей стороне стола и все двенадцать лет проигрывал.

Третью репетицию я перенёс на четверо суток и провёл её иначе.

Я не спорил.

Я сел, положил перед собой лист и на всякий вопрос отвечал одним и тем же: «Данный пункт основан на статье такой-то вашего уложения. Прошу указать, отменена ли эта статья».

Три часа.

Пухов уточнял формулировки — я повторял вопрос. Пухов направлял запросы в другое ведомство — я повторял вопрос. Пухов заносил в протокол — я просил занести и мой вопрос тоже, дословно, с номером статьи.

На третьем часу Пухов отложил папку.

— Господин командующий. Я не знаю, что дальше.

— Вот. — Я выпрямился. — Вот, господа, и есть средство, и я его сейчас сформулирую, а вы запишите, потому что это главный вывод трёх месяцев подготовки.

Штаб приготовился.

— Против человека, который не утверждает, не работает возражение. Против него работает повторение. Не спор — повтор. Один и тот же вопрос, в одной и той же формулировке, со ссылкой на его собственный закон, на каждом заседании, с занесением в протокол. Он может не отвечать сколько угодно; он не может сделать так, чтобы вопроса не было в протоколе. И через сорок заседаний протокол будет состоять из сорока одинаковых вопросов и сорока уклонений, и это, господа, будет документ, который переживёт нас всех.

— А если он просто перестанет вести протокол? — спросил Ольсен.

— Тогда его будем вести мы. И нейтральные посредники. Семён Семёнович, к отъезду подготовьте: порядок ведения нашего протокола, форму, писарей и — обязательно — порядок заверения у нейтральных наблюдателей в тот же день. Всякое заседание, всякий вопрос, всякое уклонение.

— Сколько писарей? — спросил Пухов.

— Шестерых, — заметил я. — И, Семён, ещё одно. Мы поедем не спорить. Мы поедем составлять документ. Это меняет всё: спор можно проиграть, а документ — только не составить.

Ольсен нашёл Мерца за девять суток до отъезда.

Он вошёл вечером, без стука — третий раз за три года, — и положил передо мной один лист.

— Господин командующий. Полковник Мерц.

— Где?

— В составе делегации Конкордата на предстоящих переговорах, — сказал Ольсен. — Должность — секретарь делегации. Назначен четыре недели назад. Источник — нейтральная посредническая служба, официальный список, полученный сегодня по протокольной линии.

Я взял лист.

Список делегации Конкордата, семнадцать фамилий. Глава — генеральный комиссар Х. Ройтер. Заместитель — от ведомства иностранных сношений. Дальше юристы, экономисты, чиновники.

И семнадцатым, в самом низу, где ставят технический персонал:

«Секретарь делегации — полковник Э. Мерц».

— Секретарь.

— Секретарь, господин командующий, — заметил Ольсен. — То есть человек, который будет вести их протокол.

Я довольно долго молчал.

— Ольсен, — произнёс я. — Помните, что я сказал три месяца назад? У всякого молчащего есть писарь.

— Помню.

— Я тогда думал, что писарь — это тот, кто подписывает за него. И искал среди тринадцати подписантов. А писарь оказался буквальный.

Я положил лист.

— Господа, — сказал я штабу, собравшемуся к ночи. — Обстановка изменилась, и я обязан объявить это прямо, чтобы никто не додумал за меня.

Штаб ждал.

— Человека, который сидит напротив и молчит, я читать не умею. Я вам это честно доложил три месяца назад и не отказываюсь. Но рядом с ним, за тем же столом, будет сидеть

офицер, который четыре года при трёх командующих вёл записи после каждого совещания и который — по показаниям троих независимых свидетелей — не может не писать.

— И что это нам даёт? — спросил Бурый.

— Пока ничего, Захар. — Я подошёл ближе. — Даёт одно: за тем столом будет человек, которого я умею читать. Первый и, возможно, единственный.

Я посмотрел на список.

— Семён Семёнович, — проговорил я. — Новый лист в реестре. Фигурант — полковник Э. Мерц, секретарь делегации Конкордата.

— Кличка? — спросил Пухов, открывая.

— Пока пустая. Но эту, Семён, я, кажется, поставлю к третьему заседанию.

Глава 3. Западные вести

Суточные сводки с западного направления начали приходить ко мне с двадцать восьмого числа — я запросил их в тот же день, когда принял направление, и запросил не как командующий, а как человек, у которого на «Стерегущем-втором» служит вахтенным офицером семнадцатилетний брат.

Строев подписал запрос без единого вопроса, чем, признаться, меня удивил, и в сопроводительной строке написал: «Сводки идут. Не превращайте их в занятие: я на этом однажды потерял месяц».

Через две недели я понял, что он имел в виду.

Западное направление я изучал два месяца — и изучал по-настоящему, как изучают чужой театр, потому что мне за столом предстояло торговать в том числе им.

Картина была такая.

Группа Веннена наступала на Сурам с осени и наступала непрерывно.

Это само по себе было редкостью: я видел, наверное, шесть непрерывных наступлений длиною в полгода, и все шесть кончились тем, что наступающая сторона надорвалась. Веннен не надрывался, и, разобрав его операции по перехватам, я понял почему.

Он не давил.

Он вообще ничего не давил: он входил.

Я разобрал одиннадцать его операций за полгода и во всех одиннадцати обнаружил одну и ту же фигуру. Он никогда не атаковал позицию. Он находил щель — стык между двумя соединениями, слабо охраняемую транзитную ветку, узел, где сменился начальник, — и вводил туда небольшие силы. Не для прорыва: для присутствия. Обороняющийся обнаруживал у себя в тылу пять-восемь чужих вымпелов, снимал силы с фронта, чтобы их вытеснить, — и Веннен входил в образовавшуюся щель уже двадцатью.

За полгода Дуров отдал четыре узла и ни разу не был разбит в бою. Он просто каждый раз оказывался в положении, когда рубеж уже обойдён, а сил на восстановление нет, потому что они ушли затыкать предыдущую щель.

— Господа, — сказал я штабу, закончив разбор. — Занесите в реестр нового фигуранта, хотя воевать с ним, надеюсь, придётся не мне. Командующий Западной группой Конкордата адмирал Веннен. Кличка — **Сквозняк**.

— Обоснование? — деловито спросил Пухов.

— Он не ломает дверь, — начал я. — Он входит в щель, и дом остывает. Захлопнешь одну — потянет из другой. Против такого не работает укрепление рубежа: против такого работает только сплошность, а сплошности не бывает, когда фронт длиннее ваших сил. Занесите характеристику: «Не давит. Занимает пустоты. Метод противодействия — не затыкать, а закрывать дом целиком, что при недостатке сил невозможно».

— То есть? — спросил Ланской.

— То есть Дуров всё делает правильно и всё равно отступает. И то есть, капитан первого ранга, что вице-адмиралу Гурьеву на западе будет очень тяжело, потому что он человек линии, а линию Сквозняк обходит по определению.

Письмо от Гурьева пришло на пятьдесят третьи сутки моей подготовки и было коротким.

«Дмитрий Александрович.

Принял направление шесть недель назад. Докладываю то, чего в сводках нет.

Положение хуже, чем пишут в столице, и лучше, чем пишут в гостиных.

Дуров не разбит и разбит не будет: он опытен, зол и держит то, что можно держать. Но он отдал четыре узла и отдаст пятый, потому что фронт у него на треть длиннее наличных сил, а противник это знает и пользуется.

Я привёл двадцать девять вымпелов и ваших двенадцать выпускников. Выпускники хороши; за них отдельно благодарю, четверо уже командуют.

Сурам будем оборонять. Осада, по моей оценке, начнётся через пять-семь недель и продлится столько, сколько мы сумеем.

Теперь то, ради чего пишу, и прошу прочесть дважды.

Вы едете к столу. Я обязан сообщить вам цену вашего стола в единицах, понятных нам обоим.

Всякая неделя, на которую вы задержите противника на севере, стоит здесь двух-трёх вымпелов и одного удержанного рубежа. Всякая неделя, за которую ставка сможет снять с севера силы и перебросить их сюда, стоит вчетверо дороже.

Это не значит, что вы должны торговать быстрее. Это значит, что вы должны знать, чем платите за медлительность, — потому что вам этого никто не скажет: столица будет требовать результата, а не объяснять цену.

И вот моя личная просьба, единственная.

Не подписывайте ничего ради нас.

Вас будут этим давить. Вам будут писать, что Сурам держится, что положение критическое, что подпись нужна к такому-то числу. Всё это будет правдой. И всё-таки не подписывайте: мир, купленный ценой ваших трёх пунктов, — я их видел в вашем листе, мне показал ваш интендант с вашего же разрешения, — этот мир вернётся сюда через десять лет, и тогда осаждать будут не Сурам.

Я, как вы помните, считаю, что вы зря выпустили Обрехта, и мнения не переменил.

Но я, Дмитрий Александрович, за полгода на вашем театре понял одну вещь, которую формулирую здесь и больше повторять не буду: командующий, который платит за передышку тем, что нельзя вернуть, покупает не время. Он покупает следующую войну.

Держитесь.

М. Гурьев».

Я прочёл дважды, как он и просил, и оба раза остановился на предпоследнем абзаце.

Потом вызвал Пухова.

— Семён Семёнович. Лист, который я вам отдал на хранение.

Пухов не двинулся.

— Не отдам, господин командующий.

— Я его не прошу. Я хочу знать, кому вы его показывали.

— Вице-адмиралу Гурьеву, — продолжил Пухов. — Перед его отъездом, с вашего разрешения, данного при штабе двадцать восьмого числа: «ассистентов берите сколько нужно», а он спросил прямо, и я счёл, что это тот случай.

— Правильно счёл. Семён, а теперь я вам скажу то, ради чего вызвал, и прошу отнестись как к приказу, хотя это будет просьба.

— Слушаю.

— Через три-четыре месяца, — сказал я, — я приду к вам за этим листом. Не сегодня и не в дурную минуту: в дурную минуту я не приду, я себя знаю. Я приду с доводом.

Пухов смотрел на меня внимательно.

— Довод будет хороший. Он будет такой: Сурам в осаде, положение критическое, империи нужна передышка, и один пункт из трёх стоит того, чтобы его смягчить, потому что за ним стоят живые люди на западе. Всё в этом доводе будет правдой, Семён, — и цифры, и положение, и живые люди. Я не буду вам врать: я приду с настоящим доводом, и вы не сможете мне возразить по существу.

— И?

— И вы всё равно не отдадите. — Я встал. — Вот об этом я вас и прошу. Не спорить со мной — вы проиграете спор, я лучше умею. Просто не отдать.

Пухов помолчал.

— Господин командующий. Разрешите уточнить один случай. А если довод будет не про Сурам?

— То есть?

— То есть, — сказал Пухов ровно, — если довод будет про вашего брата.

В штабе было пусто; горела одна лампа над картой.

— Тогда тем более.

— Записал, — произнёс Пухов.

— Что вы записали, Семён?

— Разговор, — сказал Пухов и показал лист. — Я его сейчас же оформлю, датирую и приложу к вашему листу в тот же конверт, за своей подписью. Господин командующий, вы человек умный и через три месяца найдёте семь способов объяснить мне, что данная просьба относилась к другим обстоятельствам. Против этого есть только одно средство, и вы меня ему сами научили.

— Какое?

— Бумага, — сказал Пухов.

Про Сурам я в те месяцы знал больше, чем мне было полезно.

Суточные сводки — вещь коварная. В них нет ничего, кроме положения, потерь и наличия, и человек, читающий их изо дня в день о месте, где служит его брат, довольно быстро перестаёт видеть положение и начинает видеть только одну строку.

«Стерегущий-второй» появился в сводках впервые на сорок первые сутки — в перечне бортов, выделенных в отряд прикрытия транзитной ветки.

Второй раз — на шестьдесят вторые: «отряд прикрытия имел соприкосновение с силами противника, потерь нет».

Третий — на семьдесят девятые.

«...в ходе боя за узел Кемь-Западная эсминец „Стерегущий-второй“ получил повреждения носовой группы и вышел из строя на срок до двадцати суток. Потери экипажа: убитыми — четыре, ранеными — одиннадцать. Борт отведён на Сурам».

Фамилий в суточных сводках не бывает.

Я прочёл эту строку в пятом часу утра, потом сходил и умылся, потом вернулся и прочёл ещё раз, и ещё раз, и, когда в шестом часу зашёл Ольсен с обычным утренним докладом, обнаружил, что стою у карты западного направления, которая мне была совершенно не нужна.

— Господин командующий?

— Всё в порядке, капитан-лейтенант, — ответил я. — Докладывайте.

Ольсен доложил.

Через полтора часа я вызвал его снова.

— Ольсен. Вы вчера в сводке видели строку про «Стерегущий-второй»?

— Видел, господин командующий.

— Вы можете установить фамилии четверых убитых?

Ольсен молчал секунды три.

— Могу, — сказал он. — Через штаб флота, официальным запросом. Срок — от девяти до четырнадцати суток. — Он помолчал. — Или через нашего человека на Сураме, неофициально, за трое.

Я стоял и смотрел на карту.

Я отдал, наверное, тысячу приказов, каждый из которых стоил людям жизни, и ни разу не выяснял фамилий раньше, чем они приходили официальным порядком, потому что командующий, который начинает выяснять раньше и в обход, перестаёт быть командующим и становится частным лицом с эполетами.

— Официальным порядком, — добавил я. — Четырнадцать суток.

— Есть.

— И, Ольсен. — Он остановился в дверях. — Вы сейчас предложили мне обходной путь, и предложили, зная, что я его не возьму.

— Так точно, господин командующий, — отозвался Ольсен.

— Зачем?

— Затем, что если бы вы его взяли, — сказал Ольсен, — я обязан был бы доложить об этом начальнику штаба направления. Не по злобе. По должности.

Я поднял на него глаза.

— Занесите себе, капитан-лейтенант, — пояснил я. — Вы сейчас впервые в жизни проверили командующего, и проверили правильно. Через десять лет вы будете начальником аналитической при ставке, и вам это пригодится чаще, чем хотелось бы.

Фамилии пришли через тринадцать суток.

Николая Александровича Нахимова среди них не было.

Депеша Строева пришла на восемьдесят восьмые сутки и была самой откровенной из всех, что я от него получал.

«Нахимов.

До выезда девять недель. Пишу то, чего не напишу потом, потому что потом мы будем сидеть рядом и всякая моя записка станет частью дела.

Первое. Вы, вероятно, уже сообразили, зачем империя идёт к столу, но я скажу вслух, чтобы между нами не было недосказанного.

Мы идём торговать вашим севером.

Формально — переговоры о прекращении военных действий на всех театрах. Фактически ставка рассчитывает на другое: закрепить север, снять оттуда сорок-пятьдесят вымпелов и перебросить их на запад. Северное направление в этом расчёте — не победа, а актив, который можно обменять на время.

Второе. Вас включили в делегацию не за заслуги. Вас включили потому, что вы взяли Гердан и вывезли двести тысяч, а это единственный сюжет этой войны, который знают в двух миллионах домов. Ваше присутствие за столом делает наши требования по гуманитарной части неоспоримыми внутри страны: никто в империи не скажет, что Нахимов торгуется за угнанных из корысти.

То есть, Нахимов, вас взяли как документ. Я предпочитаю сказать вам это сам, чем дать вам догадаться на третьем заседании.

Третье, и вот тут — я.

Я семнадцать лет служу в имперском штабе и знаю, чего стоят наши комиссии. Я вошёл в эту делегацию сам, вопреки совету врачей и здравого смысла, по одной причине: я хочу, чтобы гуманитарная часть не была разменена. Вашего интенданта том у меня на столе четвёртый месяц, и я его читал целиком, все четыре тысячи семь имён — да, я знаю про шестьдесят одну строку и про приложение, и передайте ему, что это лучшее решение из возможных.

Четвёртое, о порядке. Глава делегации — не я и не вы: главой назначен человек от ведомства иностранных сношений, и он профессионал, чего нам обоим не хватает. Военное ведомство представляем мы двое. Гуманитарную часть веду я, по должности; вы ведёте её по существу, потому что это ваш том и ваши фамилии.

Разделение труда таково: я торгуюсь, вы стоите.

Заранее предупреждаю: вам это не понравится, потому что торговаться я буду и буду делать это гадко. Терпите. Всякий стол, где одна сторона только стоит, кончается ничем; всякий, где только торгуются, кончается позором. Нужны оба.

Пятое и последнее, из области того, что я обычно не пишу.

Ваш брат на Сураме. Я это знаю, я подписывал вам сводки. Нахимов, я потерял сына в предыдущую кампанию — вы этого не знали, об этом мало кто знает, — и я четыре месяца читал сводки, как вы сейчас. Это ничему не помогает, но и не мешает; просто имейте в виду, что за столом рядом с вами будет сидеть человек, который в этой части вас понимает и не станет об этом говорить.

Встречаемся на границе, на узле Тарм, через девять недель.

Строев».

Я прочёл это трижды и, дочитав в третий раз, сделал то, чего не делал ни разу за три года: сел и написал ответ не сразу, а через сутки.

Ответ вышел в четыре строки.

«Ваше высокопревосходительство.

Принято к сведению всё, включая то, что я — документ. Возражений не имею: документом я работаю третий год и знаю, что это самая надёжная должность на войне.

Разделение труда принимаю. Торгуйтесь. Я буду стоять.

Об одном прошу заранее: когда вы соберётесь разменять что-нибудь из моих трёх пунктов — а вы соберётесь, потому что торгуетесь по должности, — скажите мне об этом до заседания, а не во время. Не для того, чтобы я вам помешал. Для того, чтобы я не узнал об этом одновременно с противником: они это увидят по моему лицу, и тогда вы потеряете больше, чем выторгуете.

Нахимов».

За неделю до отъезда Ольсен принёс сводку, которую я потом вспоминал весь следующий год.

«Западное направление. Противник вышел к внешнему обводу узла Сурам. Начато развёртывание осадных сил. Транзитное сообщение с узлом прервано по трём веткам из четырёх».

Осада началась.

Я собрал штаб и объявил обстановку сам, потому что до отъезда оставалось семь суток и потому что молчать об этом было нельзя.

— Господа. На западе началась осада Сурама. По оценке штаба флота, узел продержится от восьми недель до четырёх месяцев.

Штаб слушал.

— Теперь то, что касается нас. Через семь суток я уеду за стол в чужую столицу, и всё это время у меня за спиной будет осаждённый узел, а в столице — люди, которые будут требовать результата к сроку. Я обязан сказать вам, как я намерен с этим обходиться, чтобы вы знали и, если понадобится, напомнили.

— Слушаем.

— Первое, — добавил я. — Я не буду торопиться. Ни на одном заседании, ни по одному пункту. Всякая уступка, сделанная ради ускорения, есть уступка, сделанная бесплатно: противник за неё ничего не отдаёт, потому что видит, что мы спешим.

— Второе. Я не буду скрывать от них, что мы спешим, — потому что они это знают. Сурам осаждён, об этом пишут все нейтральные издания. Скрывать очевидное — значит выглядеть глупо, а выглядеть глупо за столом дороже, чем выглядеть слабым.

— Третье. — Я помолчал. — Третье, господа, лично. У меня в Сураме брат. Об этом знают все присутствующие, потому что я запрашивал сводки открыто, через штаб, а не в обход. Так вот: если кто-нибудь из вас в ближайшие месяцы заметит, что мои решения начали учитывать это обстоятельство, — вы обязаны сказать мне об этом в лицо, и я это приму. Захар, на вас это в первую очередь.

Бурый взглянул на меня своим обычным спокойным взглядом.

— Скажу, ваше благородие, — сказал он, по старой привычке употребив прежнее обращение, и я его не поправил.

Марфа Игнатьевна пришла в тот вечер и, поставив кружку, сказала одно:

— Осада?

— Осада, Марфа Игнатьевна.

— Это долго, — заметила она. — Это, Митенька, месяца на три, а то и на пять. Я под Кемью в осаде сидела, при госпитале, знаю. — Она помолчала. — Ты вот что. Ты, как поедешь, ты сводки эти читай раз в неделю, а не каждый день.

— Не смогу.

— Знаю, что не сможешь, — сказала Марфа Игнатьевна. — Я тебе не приказываю, я тебе говорю, как надо. Разница есть. — Она забрала кружку. — А не сможешь — так хоть читай их с утра, а не на ночь. Утром прочтёшь — день отработаешь. На ночь прочтёшь — не уснёшь, а назавтра будешь с ними за столом сидеть дурной, и они это увидят.

Я посмотрел на неё.

— Марфа Игнатьевна, за две жизни у меня было три учителя. Вы четвёртая, и вы единственная, кто ни разу не сказал ничего, что оказалось бы неправдой.

— Ты пей. — Она кивнула. — Остынет.

Глава 4. Проводы с Крайнего

Театр я сдавал шесть суток, и сдавал его не Бурому, хотя формально принимал Бурый.

Я сдавал его четверым, и на четвёртые сутки, глядя на подписанные акты, поймал себя на мысли, от которой мне стало не по себе: из четверых, державших Северный театр к весне того года, военным был один.

Начальник штаба направления контр-адмирал Захар Бурый — бывший старшина трюмной команды.

Начальник управления расселения театра Марфа Игнатьевна Гурова — повариха.

Начальник докового и ремонтного хозяйства Иван Осипович Лемех — мастер третьего дока Гердана-Северного, вывезенный нами из эшелона Т-9.

Начальник энергетического хозяйства Николай Демьянович Пров — начальник смены энергоцеха того же города, приехавший ко мне два года назад в контейнере с рудой.

— Захар, — сказал я, подписывая последний акт, — вы понимаете, что мы с вами построили?

— Понимаю, ваше благородие, — ответил Бурый. — Флот из тех, кого вывезли.

— Именно, — согласился я. — И отметьте себе: это не благородство и не случайность. Это единственный способ, каким слабая сторона получает тыл. Всякий вывезенный человек через год работает, а всякий брошенный через год воюет против вас или, в лучшем случае, ждёт, кто победит. Я это знал в теории сорок лет и увидел своими глазами впервые.

Школе я читал последнюю лекцию за четверо суток до отъезда.

Читать я не собирался: собирался зайти попрощаться. Но Одинцов, ставший к тому времени начальником учебной части, встретил меня в дверях с расписанием в руках и сказал:

— Господин командующий, третий и четвёртый потоки в сборе. Полтора часа.

— Одинцов, вы меня поймали.

— Так точно, — сказал Одинцов без тени раскаяния. — Господин командующий, вас три месяца не было на занятиях, а вы уезжаете на полгода. Я обязан был поймать.

Курсантов было двести с лишним. Половина — мальчишки с потоков, половина — офицеры флота метрополии, оставшиеся на театре после Щербатова.

Я вышел к доске и, признаться, минуту не знал, о чём говорить, потому что весь мой курс был про войну, а я уезжал не на войну.

Потом сообразил.

— Господа, тема сегодняшнего занятия: как проигрывают выигранное.

Аудитория подобралась.

— Я задам вопрос, а вы отвечайте, не бойтесь ошибиться. — Я опустил руку на схему. — Кто может назвать хоть одну кампанию в истории, выигранную полностью и не потерявшую своего результата в течение двадцати лет?

Тишина.

— Никто, — начал я. — И правильно, потому что таких нет. За две... за всё время, которое я изучал военную историю, я не нашёл ни одной. Всякая выигранная война через двадцать лет оказывается либо предисловием к следующей, либо потерянной по частям, и происходит это всегда одинаково: не на поле, а после.

Я взял мел.

— Механизм такой. Победитель садится за стол. За столом выясняется, что победа — это актив, а у победившей страны есть другие нужды, и актив можно обменять. Обменивают всегда одинаково: отдают то, что нельзя вернуть, взамен того, что можно получить и другим способом.

— Например? — спросил кто-то из метрополейских, немолодой капитан-лейтенант.

— Например, — сказал я, — вы выиграли кампанию и держите чужой узел. За столом вам предлагают: отдайте требование о возврате угнанных, и мы уйдём с другого узла, который вы всё равно возьмёте через полгода. Что вы сделаете?

— Не отдам требование, — сказал капитан-лейтенант.

— Отдадите. Не сразу. Через четыре месяца, когда у вас на другом театре будет осада, а требование к тому времени будет казаться вам вопросом второстепенным, потому что вы четыре месяца о нём говорите и привыкли. Это, господа, называется изнурение, и это не приём противника, а свойство времени.

Я положил мел.

— Средство одно, и я вам его сообщаю, потому что половина из вас через двадцать лет будет сидеть за такими столами, а меня к тому времени не будет. Средство: до начала всего дела запишите на бумаге, чего не отдадите ни при каких обстоятельствах. Не больше трёх пунктов. Отдайте бумагу на хранение человеку, который вам её не вернёт. И — вот это главное — выберите такого человека, который не боится вас лично.

Я оглядел аудиторию.

— Найти храброго в бою легко, — закончил я. — Найти храброго в кабинете почти невозможно. Ищите заранее.

Лемех пришёл ко мне за двое суток до отъезда, вечером, и пришёл не по работе — по работе он всё сдал накануне, с описями.

Он постоял, помялся и сказал:

— Господин вице-адмирал. У меня просьба, и она дурацкая.

— Иван Осипович, за три года я от вас дурацких просьб не слышал ни одной. Садитесь.

Он сел, положил на колени шапку.

— У меня в третьей смене человек был. Ещё в Гердане, до всего. Клим Ярош, слесарь-лекальщик. Ему тогда было сорок два, и мы с ним двенадцать лет рядом стояли.

— Угнали?

— Угнали, — отозвался Лемех. — Первым эшелоном, ещё осенью, до вашего Штерна. Он в списке-то есть, я смотрел, Семён Семёныч мне показывал: Ярош Клим, номер эшелона, всё как надо. Он есть.

— Тогда в чём просьба?

Лемех помолчал.

— А в том, — сказал он, — что за него никто не подавал.

Я не понял и сказал об этом.

— Ну как же. Вот у меня — жена, сын. Они на Крайнем, они пришли, продиктовали, их в тетрадку записали, в ту, что «Кого ждут». А у Клима никого. Мать померла до войны, жены не было, детей не было. Он один жил, в общежитии при доке. — Лемех посмотрел на свои руки. — И выходит так, господин вице-адмирал, что он в вашем томе есть, а в тетрадке — нету. Потому что тетрадка — она про тех, кого ждут. А его никто не ждёт.

Я молчал.

— Иван Осипович, — продолжил я. — Вы просите вписать его в тетрадь.

— Прошу. Пропишите меня за него. Не родня я ему, никто, просто двенадцать лет рядом стояли. Но ждать-то его кому-то надо.

Я вызвал Пухова немедленно, в десятом часу вечера.

Пухов пришёл через четыре минуты, с папкой, потому что он всегда приходил с папкой.

— Семён Семёнович. Тетрадь «Кого ждут». Сколько семей?

— Две тысячи двести шестьдесят четыре, господин командующий.

— А в томе «Списки на возврат» — четыре тысячи семь имён.

— Так точно.

— Считайте, Семён.

Пухов посчитал не на бумаге — в уме, и по лицу его я увидел момент, когда он понял.

— Господин командующий, — сказал он очень медленно. — Я этого не сводил.

— Сводите. Сегодня. Мне нужно к утру знать, сколько человек из тома не значатся ни в одной семье тетради.

Он свёл за ночь, вдвоём с Астой Ковач, и принёс мне цифру в шестом часу утра.

— Триста девятнадцать, — повторил Пухов.

Я смотрел на лист.

— Триста девятнадцать человек, — сказал Пухов, — которые есть в томе, установлены по эшелонам, по половине известно размещение, — и за которых за три года никто ни разу не подал заявления. Ни родственника, ни соседа, ни сослуживца. Господин командующий, я вёл эти два документа два года и не сообразил их сопоставить, потому что они разного назначения. Простите.

— Не извиняйтесь, Семён. — Я развернул планшет. — Я тоже не сообразил, а я командующий и обязан был. Это сообразил вольнонаёмный мастер третьего дока, и сообразил не в штабе, а у себя, потому что двенадцать лет стоял рядом с человеком, у которого никого нет.

Я встал.

— Заводите раздел, — добавил я. — Название — по существу, без красот.

— Какое?

Я подумал.

— «За кого не просили».

Пухов записал.

— Господин командующий, — сказал он, — я обязан спросить про порядок. Тетрадь «Кого ждут» ведётся по заявлениям: человек приходит и диктует. По этим тремстам девятнадцати заявлений не будет никогда — это, простите, следует из самого определения.

— Следует, — согласился я. — Поэтому порядок такой. По этим тремстам девятнадцати заявителем выступает театр. Формулировка — от моего имени, и я её продиктую сейчас, а вы причешете.

Пухов приготовился.

— «Настоящим удостоверяется, что за поименованными лицами заявлений от родственников и близких не поступало по причине отсутствия таковых. Заявителем по настоящему разделу выступает командование Северного театра. Розыск, установление судьбы и возвращение производятся в общем порядке, наравне с лицами, за которых поданы заявления, без каких-либо изъятий и без понижения очерёдности».

— Записал, — сказал Пухов.

— И последнюю строку. «Основанием к внесению первой записи послужило обращение вольнонаёмного мастера И. О. Лемеха от такого-то числа».

— Господин командующий, — сказал Пухов, — это в служебном документе лишнее.

— Это в служебном документе единственное необходимое, Семён. Через двадцать лет кто-нибудь откроет этот раздел и спросит, откуда он взялся. Пусть будет написано, откуда.

Лемеха я нашёл утром, в доке.

— Иван Осипович. Ваша просьба исполнена и исполнена шире, чем вы просили. Клим Ярош внесён первой записью в новый раздел тома. В разделе триста девятнадцать человек, и заявителем по всем троим стам девятнадцати выступает театр.

Лемех вытер руки.

— Триста девятнадцать, — повторил он.

— Триста девятнадцать.

Он постоял, глядя на корпус в стапеле.

— Господин вице-адмирал, — пояснил он. — А я ведь думал, я один такой дурак. Что вот у всех родня, а у меня чужой человек в голове сидит третий год.

— Вы не один, Иван Осипович. Вы просто первый, кто пришёл и сказал.

Отъезд был назначен на четырнадцатое.

Состав делегации от Северного направления: я; флаг-интендант Пухов с шестью писарями и Астой Ковач; прокурор театра с двумя помощниками; капитан-лейтенант Ольсен; графиня Верейская как аккредитованное лицо от имперской печати; и капитан второго ранга Карл Штоф.

Штофа мне пришлось отстаивать письменно.

Штаб направления при согласовании состава вычеркнул его дважды с одной и той же резолюцией: «Ввиду отсутствия у названного офицера обязанностей, соответствующих характеру делегации».

Я написал в третий раз, и написал так:

«Настаиваю на включении капитана второго ранга К. Штофа в состав делегации. Обязанности: офицер связи делегации с нейтральной посреднической службой и портовыми властями места пребывания.

Обоснование. Делегация направляется в страну, где мы не имеем ни агентуры, ни знакомств, ни представления о повседневном порядке. За три года кампании названный офицер шесть раз обеспечивал соединению сведения, которых не давала аналитическая группа, — способом, который я не берусь описывать в служебном документе и который в шести случаях из шести оказался законным.

Отдельно свидетельствую: за три года службы капитан второго ранга Штоф ни разу не солгал мне, ни разу не солгал в служебном документе и ни разу не солгал нейтральной стороне. Всё прочее — по обстановке.

Нахимов».

Согласование пришло с резолюцией Строева: «Включить. Последний абзац — лучшая аттестация, какую я читал за семнадцать лет».

Штоф, узнав, был растроган до неприличия.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — а я, признаться, думал, что меня оставят.

— Оставили бы, Карл. Слушайте задачу, и слушайте всерьёз, потому что это не поручение, а расчёт. Три месяца вы мне говорили, что не можете изобразить человека, который молчит. Это правда, и за столом вы мне будете почти бесполезны.

— Почти?

— Почти, — отозвался я. — Потому что за столом сидят семнадцать человек, а в городе живут двести тысяч. И вот в городе, Карл, вы мне будете нужнее прокурора. Мне нужно знать, чем там живут. Что пишут в портовых газетах. О чём говорят в очередях. Сколько стоит хлеб и есть ли он. Кого хоронят и как. Не для разведки — для понимания, потому что я третий год воюю со страной, которой ни разу не видел.

— Это я умею, — сказал Штоф. — Ваше превосходительство, разрешите вопрос: врать там можно?

— Нельзя, Карл, — ответил я. — Категорически. Первая же ваша ложь в чужой столице — это не ваш провал, это провал делегации, и весь наш том полетит следом, потому что нам скажут: у них в делегации лжец, а вы верите их бумагам. Ходите, слушайте, разговаривайте. Платите за выпивку. Но фамилию свою и должность называйте настоящие, и если спросят, кто вы, — говорите правду.

Штоф подумал.

— Ваше превосходительство, — сказал он с некоторой печалью, — вы у меня отбираете инструмент и оставляете работу.

— Именно. И я вам обещаю, Карл: вы обнаружите, что второе интереснее.

Марфа Игнатьевна собирала меня сама, и это заняло полдня.

Она принесла ящик — обыкновенный провиантский, — и я, взглянув, понял, что спорить бессмысленно.

— Марфа Игнатьевна, нас там будут кормить.

— Знаю, что будут. — Она подождала. — Ты пойми, Митенька: их кормёжка — она ихняя. Ты полгода будешь чужое есть, а от чужой еды человек через месяц делается раздражительный, я это по эвакуированным вижу третий год. — Она хлопнула по крышке. — Тут сухари, крупа, чай и мёд. Мёд — от Насти, у неё в третьем ярусе улей завёлся, не спрашивай как. И ещё вот.

Она достала свёрток.

Это была жестянка — обыкновенная, из-под трофейного галетного пайка, — тщательно вымытая, с крышкой.

— Это чего? — спросил я.

— Это тебе для кружки, — сказала Марфа Игнатьевна. — Заварка. Я тебе туда своей насыпала, на четыре месяца. Ты, как сядешь вечером один и станешь думать про свои три пункта, — ты чай завари. Не для вкусу. Для порядку: покуда человек чай заваривает, он две минуты не думает, а две минуты — оно много.

Я взял жестянку.

— Марфа Игнатьевна, — сказал я, — а вы ведь понимаете, что вы мне сейчас дали единственную вещь, которую я в чужой столице не смогу получить ни за какие деньги.

— Заварку-то? — отозвалась она.

— Две минуты, — подтвердил я.

Настя-садовница передала горшок с мелкими синими звёздами накануне отъезда.

Горшок был не тот — новый, поменьше, и звёзды в нём стояли гуще.

— Я от большого отсадила, — продолжила Настя. — Тот пусть тут остаётся, при штабе, чтоб дом был. А этот с вами поедет.

— Настя, — сказал я, — мы едем в чужую столицу, там таможня, протокол и семнадцать чиновников.

— А вы его в багаж не кладите. Вы его в руках везите.

Кот Реактор в поездку включён не был.

Он остался при управлении расселения театра, на полном довольствии по вольнонаёмному ведомству, о чём Марфа Игнатьевна получила отдельное распоряжение за моей подписью, и в тот же день, по докладу Асты Ковач, лёг спать на её папку с приказами, чем задержал утреннюю подпись на сорок минут.

Уходили четырнадцатого, в шесть утра, с Крайнего.

Провожать я не велел никому и никого — и, естественно, провожали все, потому что запретить это можно только приказом, а приказ о запрете провожать пишет человек, у которого нет ни стыда, ни понимания.

На причале стояли Бурый, Ланской, Одинцов, третий и четвёртый потоки школы в полном составе, восемьсот сорок доковых Лемеха, двести старших по кварталам расселения и Марфа Игнатьевна с кружкой, которую она мне так и не отдала, потому что чай на причале не пьют.

Оркестра не было. Я его запретил письменно ещё за неделю, и на этот раз запрет выполнили.

Пров подошёл последним, когда уже начали убирать сходни.

— Господин вице-адмирал.

— Николай Демьянович.

— Вы там, — сказал он, — вы, если про наших спросят, — вы скажите, что мы ждём.

— Скажу, — кивнул я.

— Вы уж скажите, — повторил Пров. — Я, знаете, три года в городе людям говорил: ждите. А теперь я тут, при подстанциях, в тепле, и мне их ждать легко. — Он посмотрел на меня. — А им там тяжело. Тысяча девятьсот двенадцать человек в ихней метрополии, и им никто уже четвёртый год не говорит, что их ждут.

— Николай Демьянович, — сказал я, — у меня в томе с сегодняшней недели есть раздел, который называется «За кого не просили». В нём триста девятнадцать человек, и заявителем по ним выступает театр.

Пров помолчал.

— Это правильно, — уточнил он. — Это, господин вице-адмирал, самое правильное, что вы за три года придумали.

— Придумал не я. Придумал Лемех.

— Тем более.

Мы вышли с Крайнего в шесть утра, и я до последнего стоял в кормовой галерее, глядя, как узел уходит в рыжую муть — со всеми своими одиннадцатью ярусами, тремя доками, школой, госпиталем, кухнями и ста сорока девятью тысячами человек, которых мы за два года вывезли из-под чужого квартального плана.

До границы метрополии Конкордата было девятнадцать суток хода.

До узла Тарм, где меня ждал Строев, — семнадцать.

Верейская нашла меня в галерее через полчаса.

— Командующий. Первый вопрос для очерка.

— Уже?

— Уже, — отозвалась она. — Он короткий, и я его придумала три месяца назад. — Она посмотрела на уходящий узел. — Вы три года воевали, чтобы вернуть людей домой. Сегодня вы уехали из дома, чтобы этого добиться. Вы вообще заметили, что это одно и то же слово?

Я подумал.

— Графиня, — сказал я, — не пишите этого.

— Почему?

— Потому что это слишком хорошо сказано, — отозвался я. — А в очерке про переговоры не должно быть ничего хорошо сказанного. Там должны быть протоколы, номера статей и фамилии. Красиво напишете — нам не поверят.

Глава 5. Граница метрополии

Узел Тарм я представлял себе иначе.

За семнадцать суток хода я успел составить о нём мнение по бумагам: пограничная транзитная станция империи, три яруса, гарнизон в четыреста человек, обычное место, каких на любой границе десяток.

Оказалось — площадка, где семнадцать лет ничего не происходило.

Тарм был чистый. Это было первое, что бросалось в глаза человеку, три года прожившему на театре: полы без следов от аварийных партий, переборки без заплат, вахтенные в отглаженном. Тут не воевали ни одного дня и не эвакуировали ни одного человека, и от этого узел производил впечатление музея.

Штоф, сойдя, огляделся и сказал:

— Ваше превосходительство, я, кажется, понимаю, что чувствовал светлейший князь Щербатов, приехав к нам на Крайний.

— И что он чувствовал, Карл?

— Что попал к дикарям, — сказал Штоф. — Только у нас наоборот: это мы приехали к чистым.

Строев ждал в отведённом делегации помещении и встал, когда я вошёл, — чего мог не делать, поскольку был старше меня и по чину, и по должности.

Я его никогда не видел.

Три года я знал этого человека по депешам — по коротким, злым, точным депешам, из которых у меня сложился образ: сухой, высокий, лет шестидесяти, из тех столичных, что держат осанку до последнего дня.

Адмиралу Строеву было шестьдесят восемь, и он был маленький.

Маленький, грузный, с одышкой, с тяжёлыми веками и с руками, которые он всё время держал на столе, потому что, как я выяснил через неделю, они у него дрожали.

— Нахимов. Наконец-то. Садитесь, я не встаю дважды, у меня на это здоровья нет.

Я сел.

Он смотрел на меня довольно долго и совершенно откровенно, как смотрят на предмет, о котором три года читали.

— Моложе, чем я думал, — сказал он наконец.

— Мне тридцать один, ваше высокопревосходительство.

— Я знаю, сколько вам лет, — повторил Строев. — Я вам говорю не про годы. Я три года читаю ваши реляции, и у меня по ним сложился человек лет пятидесяти пяти, желчный, битый и с очень плохим характером. — Он откинулся. — А вы, оказывается, ещё и вежливый. Это плохо.

— Почему?

— Потому что там, куда мы едем, вежливость примут за готовность уступать, — ответил Строев. — Ладно, разберёмся. Теперь к делу, у нас с вами пять суток на Тарме и полтора часа сейчас.

Он придвинул папку.

— Первое. Глава делегации — тайный советник Волынцев, от ведомства иностранных сношений. Прибудет через трое суток. Хороший профессионал, тридцать лет по этой части, вёл четыре соглашения. Не наш и не ваш: он ведомственный. Запомните про него одну вещь и не забывайте ни на одном заседании: он будет считать успехом всякое подписанное соглашение, потому что его ведомство оценивают по подписанным соглашениям, а не по их содержанию.

— То есть он будет давить на нас изнутри.

— Он будет давить на нас изнутри, — подтвердил Строев. — Не по злобе, не по подлости и не по глупости. По устройству. Не воюйте с ним, Нахимов, — он нам нужен, без него мы с вами за столом будем как два слесаря в опере.

— Второе, — возразил он. — Порядок работы делегации. Заседания общие, по частям — рабочие подкомиссии. Гуманитарная часть — отдельная подкомиссия, её ведём мы с вами. Волынцев в неё не входит, но всё, что мы там выторгуем, идёт в общее соглашение, и вот на общем заседании он будет вправе вносить изменения.

— Значит, воевать придётся дважды.

— Дважды. — Он кивнул. — Один раз с ними, один раз со своими, и второй раз тяжелее, потому что со своими нельзя выигрывать слишком очевидно. Запомните это, Нахимов: победа над собственным главой делегации, одержанная при противнике, дороже обходится, чем поражение.

Он полистал бумаги.

— Третье. Ваш том я прочёл целиком, и приложение о шестидесяти одной строке тоже. — Он поднял глаза. — Кто это придумал?

— Флаг-интендант Пухов, ваше высокопревосходительство.

— Позовите его. Не сейчас — завтра, я хочу с ним поговорить час. — Строев потёр веки. — Нахимов, я семнадцать лет читаю имперские документы и вам говорю: приложение, в котором составитель сам перечисляет собственные ошибки с указанием причин, — это редкость такого порядка, что я его буду показывать в ставке как учебное пособие. Ваш интендант понимает про бумагу что-то, чего не понимаю я.

— Он двенадцать лет писал рапорты о недостачах, — сказал я.

— Это многое объясняет. Дальше. Четвёртое, и вот тут мы с вами начнём расходиться, поэтому я говорю об этом на Тарме, а не там.

Я приготовился.

— Ваши три пункта, — подтвердил Строев. — Я их видел. Первый — возврат всех, поимённо, без размена. Второй — реестр без вычеркиваний. Третий — ни один человек не покупается ценой другого.

— Так точно.

— Первый пункт я поддерживаю целиком и буду за него стоять до конца. — Он помолчал. — Второй тоже, хотя он труднее, и я вам заранее скажу, что по нему будет тяжелейший бой. — Он помолчал. — А третий, Нахимов, я вам поддерживать не буду.

— Обоснуйте, ваше высокопревосходительство.

— Обосную, — сказал Строев. — Ваш третий пункт — не переговорная позиция. Это личное правило, и правило хорошее; я бы, наверное, хотел его иметь. Но за столом, где торгуют людьми — а мы едем именно за этим, не обольщайтесь, — человек с абсолютным правилом становится предсказуем. Противник вычислит его на третьем заседании и будет строить на нём все свои ходы: он начнёт предлагать вам размены, зная, что вы откажетесь, и всякий ваш отказ будет заносить в протокол как срыв переговоров с нашей стороны.

Я подумал.

Это был хороший довод. Это был очень хороший довод, и он лежал ровно в той области, где я был слаб, — я и сам знал, что за три года мой метод стал читаемым, и Корвель мне это доказала полтора года назад.

— Что вы предлагаете взамен, ваше высокопревосходительство? — спросил я.

— Ничего. В том-то и дело, Нахимов, что я вам ничего взамен не предлагаю, и потому не требую от вас пункт снять. Я вам сообщаю, что не буду за него стоять, и что, когда вас на нём поймают, вы будете стоять один.

— Понял, — пояснил я.

— Не поняли, — начал Строев. — Поймёте на четвёртом месяце. — Он собрал бумаги. — И последнее, из личного, чтобы потом не возвращаться. Я вам писал, что у меня в прошлую кампанию погиб сын.

— Помню.

— Так вот, — сказал Строев, — я вам это написал не для того, чтобы вы мне сочувствовали, и не для того, чтобы вы решили, будто я вас понимаю. Я вам это написал по одной причине: чтобы вы знали, что за столом рядом с вами сидит человек, которого однажды уже покупали этим. — Он посмотрел мне в глаза. — Мне за два месяца до его гибели предлагали перевод для него в тыл. За уступку по одному вопросу, который тогда казался второстепенным. Я не взял.

Он встал — тяжело, с одышкой.

— Я не взял, Нахимов, и он погиб, и вопрос, по которому я тогда не уступил, через полгода отдали без меня и бесплатно. — Он пошёл к двери. — Я вам это рассказываю, чтобы вы не думали, будто у меня есть какая-нибудь мудрость. У меня её нет. У меня есть только знание, что это бывает и что это ничем не кончается.

Границу мы перешли на шестые сутки после Тарма.

Формально это выглядело так: имперский борт делегации шёл до нейтральной точки, там нейтральная посредническая служба принимала делегацию под свою ответственность, а дальше — на бортах Конкордата, до столицы, семь суток хода.

Фактически это выглядело как первое заседание, только без стола.

Приёмом руководил майор Эрих Бенц.

Я увидел его на нейтральной точке, у трапа, и на секунду не узнал: он был в новом мундире, при аксельбанте протокольной части, и стоял так прямо, как не стоял ни разу за все наши прежние встречи.

— Господин вице-адмирал, — закончил он. — Майор Бенц, прикомандирован к протокольной части делегации Конкордата. Уполномочен встретить и сопроводить имперскую делегацию до столицы.

— Майор Бенц, рад вас видеть.

— Благодарю, господин вице-адмирал, — сказал Бенц, и лицо у него не изменилось ни на волос. — Прошу представить состав делегации для сверки со списком.

Так и пошло.

Он был безукоризнен. Он был настолько безукоризнен, что через час я понял: за ним смотрят, и он это знает, и вся его сегодняшняя манера — это единственный способ довезти нас до столицы и не сесть.

Сверка списка заняла сорок минут. Осмотр багажа — два часа.

На осмотре багажа случилось единственное происшествие.

Досмотровый чиновник — не Бенц, чиновник от другого ведомства, молодой, с очень внимательными глазами — дошёл до горшка с мелкими синими звёздами, который я, по совету Насти, вёз в руках, и остановился.

— Что это?

— Растение, — уточнил я.

— Ввоз растительного материала в метрополию регулируется, — произнёс чиновник. — Требуется санитарное свидетельство.

Я, признаться, растерялся: за три года меня останавливали минные поля, восемьдесят шесть вымпелов и приказ номер сорок один, но никогда — санитарное свидетельство.

— Свидетельства нет.

— В таком случае...

— В таком случае, — сказал Бенц ровно, — прошу занести в протокол досмотра следующее. Предмет: горшок керамический, один, с растением неустановленного вида, высота

двенадцать сантиметров. Свидетельства нет. Предмет помещается под протокольный арест на срок пребывания делегации, содержание — за счёт принимающей стороны, ответственный за сохранность — протокольная часть. — Он повернулся ко мне. — Господин вице-адмирал, растение будет находиться в помещении протокольной части и будет вам возвращено при отъезде. Поливать его буду я лично.

Чиновник посмотрел на Бенца.

— Это предусмотрено порядком? — спросил он.

— Это предусмотрено пунктом одиннадцатым инструкции о протокольном имуществе, — проговорил Бенц. — Могу зачитать.

Чиновник не пожелал слушать одиннадцатый пункт и пошёл дальше.

Через полтора часа, когда досмотр кончился и делегацию повели на борт, Бенц оказался рядом со мной на переходе — на четыре шага, не больше, потому что дальше начинался коридор, где стояли двое.

— Господин вице-адмирал, — сказал он, не поворачивая головы и не понижая голоса, что было умнее, чем понижать. — Прошу вас обратить внимание: в третьей ведомости приёмного акта, на четвёртом листе, стоит описка в дате. Исправьте, а то с вас спросят.

— Благодарю, майор.

Ведомость я смотрел в тот же вечер, на борту, вместе с Пуховым.

Третья ведомость приёмного акта. Четвёртый лист. Опись документов, представленных имперской делегацией к предъявлению.

Даты были правильные все.

Кроме одной: в строке, где перечислялся том «Списки на возврат» с приложениями, дата составления тома стояла не наша.

Наша была — четырнадцатое.

Стояло — двадцать девятое. То есть на пятнадцать суток позже.

— Семён Семёнович. Что это значит?

Пухов смотрел на строку минуты две.

— Господин командующий, — сказал он наконец. — Это значит, что кто-то у них уже работал с нашей описью. И работал не сегодня.

— Поясните.

— Опись мы передали нейтральной посреднической службе шесть недель назад, для предварительного ознакомления сторон. — Он перевернул лист. — Это обычный порядок. Вот эта дата, двадцать девятое, — она не описка, господин командующий. Описку в дате делают на день-два, на цифру. А пятнадцать суток — это не рука дрогнула. Это кто-то сознательно поставил дату позже.

— Зачем?

— Затем, — сказал Пухов, и я увидел, как у него побелели костяшки на папке, — что двадцать девятого числа вступило в силу их постановление о порядке предъявления документов на переговорах. Я его читал, оно есть в своде прокурора. По нему всякий документ, составленный после введения порядка, подлежит проверке в их особом делопроизводстве до предъявления комиссии.

— То есть если наш том составлен четырнадцатого — он предъявляется прямо.

— А если двадцать девятого, — сказал Пухов, — он сначала уходит к ним на проверку. На срок, который они установят сами. И вернётся к нам в том виде, в каком они сочтут нужным его вернуть.

В каюте было тихо.

— Семён. Сколько бы он у них пробыл?

— Не знаю, — отозвался Пухов. — Порядок срока не устанавливает.

Я сидел долго..

— Значит, вот как это делается, — сказал я наконец. — Ни спора, ни отказа, ни возражения. Одна цифра в описи, поставленная за шесть недель до нашего приезда чьей-то чужой рукой. И том, ради которого мы три месяца работали сорок один человек, ложится к ним в шкаф на неопределённый срок.

— Так точно.

— А майор интендантской службы протокольной части, — сказал я, — проходя мимо меня четыре шага, сообщает об этом вслух, при двоих, в форме указания на описку.

Пухов поправил очки.

— Господин командующий. Разрешите высказать соображение по существу.

— Высказывайте.

— Он не оказал нам услугу, — заметил Пухов. — Я хочу, чтобы вы это правильно поняли, потому что от этого зависит, как нам с ним держаться. Майор Бенц не передал нам сведений о противнике, не выдал ничьего замысла и не нарушил ни одной инструкции. Он указал стороне на ошибку в приёмном акте, что входит в обязанности протокольной части и записано в её положении. Формально он безупречен, и, если с него спросят, он представит положение и будет прав.

— Продолжайте.

— Я всю жизнь так работал, — продолжил Пухов. — Господин командующий, есть только один способ помогать, находясь под надзором: делать это в точности по своей должности. Он нашёл этот способ. Значит, он его искал.

Я встал.

— Составляйте, Семён, — пояснил я. — Заявление об исправлении описки в третьей ведомости приёмного акта. По всей форме, со ссылкой на подлинную дату, с приложением копии передаточной расписки нейтральной посреднической службы шестинедельной давности. Подать сегодня же, через протокольную часть, с отметкой о вручении.

— Есть.

— И, Семён Семёнович. — Он остановился. — Заведите отдельный журнал. Название — «Описки».

— Господин командующий?

— Мы поедем туда на семь суток, а просидим полгода, — сказал я. — И за эти полгода нам поставят не одну описку. Ведите журнал: дата, документ, характер, кем обнаружено, чем исправлено. Каждую заверять у нейтральных посредников в тот же день.

Пухов записал.

— И ещё. Ни разу, ни в одной бумаге, ни в одном разговоре не должно появиться слово «умышленно». Ни в нашем журнале, ни в наших заявлениях. Мы фиксируем описки. Только описки. Через полгода журнал сам будет говорить громче любого обвинения, а обвинений мы предъявлять не будем, потому что доказать не сможем.

Столица открылась на седьмые сутки.

Я стоял в галерее и смотрел, как из тьмы выходит то, с чем я воевал три года и чего ни разу не видел.

Это был не узел и не станция. Это был мир — настоящий, с атмосферой, с городами, с восемью орбитальными кольцами, на которых стояло больше причальных ярусов, чем на всём Северном театре вместе взятом.

Штоф встал рядом.

— Ваше превосходительство, — сказал он тихо. — А ведь мы у них ничего не выиграли.

— Поясните, Карл.

— Мы у них выиграли север, — сказал Штоф. — Театр, восемь узлов, кампанию. — Он показал подбородком на кольца. — А вот это всё три года стояло и работало. Тут не было ни

одной бомбёжки, ваше превосходительство. Тут за три года не сгорел ни один ярус. Тут вон дети в порту бегают.

Я смотрел на кольца.

— Карл. — Я выдержал паузу. — Занесите себе, и это, пожалуй, главное, что я скажу вам за всю поездку. Мы приехали не к побеждённым. Мы приехали к стране, которая три года вела войну на чужой территории и по-прежнему целая. Всё, что мы там, у себя, считали победой, здесь неизвестно даже по названиям.

— И что тогда наш том? — спросил Штоф.

— А том, — сказал я, — единственное, что здесь есть от нашей войны. Четыре тысячи семь имён. — Я отвернулся от иллюминатора. — И, Карл, вот вам ещё одно соображение, из-за которого я, признаться, плохо спал последние трое суток. Тысяча девятьсот двенадцать из этих четырёх тысяч семи находятся вот здесь. На этих кольцах, или под ними, или в шести-стах верстах отсюда, в рабочих посёлках, о которых нам известны номера приёмных пунктов и больше ничего.

Штоф помолчал.

— То есть они близко, — ответил он.

— Они ближе, чем когда бы то ни было за три года. И достать их отсюда я могу только бумагой.

Список делегации Конкордата нам вручили при высадке — окончательный, с должностями и с указанием, кто в какой подкомиссии.

Я просмотрел его на ходу и остановился на семнадцатой строке.

«Секретарь делегации, ведение протокола — полковник Э. Мерц».

И ниже, мелким шрифтом, состав подкомиссий.

«Подкомиссия по гуманитарным вопросам. От Конкордата: председатель — генеральный комиссар Х. Ройтер. Секретарь — полковник Э. Мерц».

Я перечёл дважды.

— Ольсен.

Капитан-лейтенант подошёл.

— Читайте семнадцатую строку и состав первой подкомиссии.

Ольсен прочёл.

— Господин командующий. — Он снял очки. — Он сам сел в гуманитарную.

— Он сам сел в гуманитарную, — подтвердил я. — Глава делегации, генеральный комиссар с чрезвычайными полномочиями, лично возглавил ту единственную подкомиссию, где речь пойдёт о четырёх тысячах семи фамилиях.

— Почему?

Я смотрел на список.

— Потому что он тоже прочёл наш том, — произнёс я. — И понял то же, что понял я, глядя на эти кольца. Что во всём соглашении, о котором тут будут спорить полгода — границы, транзит, репарации, обмен пленными, — есть ровно одна вещь, которая не имеет цены и потому не может быть разменяна.

Я сложил список.

— Господа, — сказал я делегации. — С этой минуты и до конца работы прошу помнить одно. Мы будем сидеть напротив человека, о котором нам известны фамилия и должность. Он выбрал себе именно наш стол. Значит, он считает нас главным противником.

Я посмотрел на семнадцатую строку.

— И ещё, — закончил я. — Рядом с ним будет сидеть человек, который каждый вечер пишет.

Глава 6. Чужая столица

Делегацию поместили в гостевом доме ведомства иностранных сношений, на третьем орбитальном кольце, и дом этот был лучшим помещением, в каком я жил за обе свои жизни.

Восемнадцать комнат. Отдельные помещения под канцелярию и под архив. Столовая. Прислуга — шесть человек, вежливых до неправдоподобия. Вода, тепло, свет, и всё это без единого перебоя, чего я не видел три года.

Ольсен, осмотрев дом, доложил через два часа:

— Господин командующий. Прослушивание: помещения канцелярии, столовая, четыре комнаты из восемнадцати, включая вашу. Установлено по проводке и по вентиляционным коробам, обнаружено визуально, без приборов.

— Оценка?

— Работа хорошая, но не первого класса, — ответил Ольсен. — Господин командующий, я бы сказал, что нам дали понять.

— Именно, капитан-лейтенант. Это не разведка. Это протокол. Нас поселили так, чтобы мы обнаружили, и обнаружили легко, потому что человек, знающий, что его слушают, разговаривает вдвое меньше и вдвое осторожнее, а нам предстоит полгода жить в этом доме и о чём-то между собой договариваться.

— Меры?

— Никаких, — ответил я. — Ничего не заклеиваем, ничего не ищем, вида не подаём. Служебные разговоры — только в архивной комнате, куда мы поставим Пухова с бумагами, потому что архивную они не слушают.

— Почему не слушают? — не понял Ольсен.

— Потому что вы её проверили и ничего не нашли, — начал я. — А ничего не нашли вы там по одной причине: они предполагают, что мы будем прятаться именно в комнате, где ничего нет, и слушать её незачем — достаточно поставить человека у двери и знать, кто и когда туда ходит. Так что, Ольсен, ходите туда все и постоянно, включая писарей, включая графиню, включая по пустякам. Пусть у них в журнале эта комната будет самым посещаемым местом в доме.

Первое заседание было назначено на третьи сутки после прибытия.

На вторые нам сообщили, что оно переносится.

Уведомление принесли в девятом часу утра, и принёс его не Бенц, а чиновник протокольной части, молодой и предупредительный.

«Ведомство иностранных сношений Конкордата извещает делегацию Империи о том, что открытие работы конференции переносится на четверо суток ввиду неготовности помещений. Приносим извинения за причинённое неудобство».

Строев прочёл, положил на стол и сказал:

— Началось.

— Ваше высокопревосходительство?

— Нахимов, — сказал он, — считайте это первым заседанием. Оно уже прошло, и мы его проиграли, потому что нам нечем ответить. Четверо суток. — Он потёр веки. — Помещения у них готовы, я вчера мимо проходил. Дело не в помещениях. Дело в том, чтобы мы четверо суток посидели и привыкли ждать.

Я подумал.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал я, — а если мы не будем ждать?

— То есть?

— То есть используем четверо суток, — отозвался я. — Они нам подарили время, полагая, что время — их оружие. Оружие может быть только у того, кто им пользуется.

Строев перевёл взгляд на меня.

— Пробуйте, — добавил он. — У меня, признаться, за семнадцать лет ни разу не выходило, но вы человек молодой и наглый, вам, может, повезёт.

Я собрал своих в архивной комнате и поставил три задачи.

— Прокурор. Первое и самое важное. У нас в своде есть статья их уложения о возврате перемещённых лиц. Мне нужен официальный, заверенный текст этой статьи со всеми изменениями, дополнениями, разъяснениями и указаниями по применению, изданными с момента её принятия. Не наша копия — их официальное издание, полученное официальным порядком, с отметкой.

— Господин командующий, — сказал прокурор, — если статья за сорок лет менялась, мы бы знали.

— Мы бы знали, если бы её меняли. Прокурор, за три года я усвоил про канцелярии одну вещь: закон почти никогда не отменяют. Его разъясняют. Проверьте разъяснения.

— Второе, — продолжил я. — Семён Семёнович. Заведите переписку с их канцелярией.

Пухов поднял голову.

— По какому вопросу?

— По любому, — отозвался я. — По порядку заверения документов, по форме протокола, по числу экземпляров, по срокам вручения. Мне нужно, чтобы у вас с их канцелярией к первому заседанию уже была переписка — хоть в четыре бумаги, лишь бы с номерами и отметками о вручении. И, Семён: держитесь с ними безукоризненно, вежливо и мелочно. Мне нужно, чтобы их канцелярия к концу недели знала, что от нашей канцелярии просто так не отделаешься.

— Это я умею.

— И третье. — Я поднял глаза. — Карл.

Штоф встал.

— Четверо суток. Город. Всё, о чём мы с вами говорили на Крайнем. Не разведка — понимание. Идите и смотрите.

— Ваше превосходительство, — сказал Штоф, — а меня выпустят?

— Выпустят, — ответил я. — Мы не арестованные, мы делегация, и всякий запрет на выход был бы сам по себе документом. Идите открыто, через парадный вход, отметьтесь у их протокольного офицера, назовите фамилию и должность и вернитесь к ужину.

— А сопровождающий?

— Будет, — отозвался я. — Обязательно будет, и не один. Карл, вот вам главное указание, и от него зависит всё: с сопровождающим держитесь дружелюбно. Не пытайтесь оторваться, не пытайтесь его перехитрить и, ради всего святого, не поите его. Разговаривайте с ним. Он вам за четверо суток расскажет больше, чем весь город.

Штоф ушёл и вернулся через четверо суток другим человеком.

Он докладывал в архивной комнате, вечером, при мне, Строеве, Ольсене и Верейской, и докладывал два часа, и за эти два часа ни разу не пошутил, чего с ним не случалось за три года ни разу.

— Ваше высокопревосходительство. Ваше превосходительство. Докладываю по городу.

— Начинайте, Карл, — отозвался я.

— Начну с главного, — пояснил Штоф. — Тут нет войны.

Он положил на стол пачку — газеты, объявления, отрывной календарь, какие-то печатные бумажки.

— Я четверо суток ходил по третьему кольцу и дважды спускался в порт нижнего яруса, — уточнил он. — Я искал признаки, по которым у нас на театре за версту видно, что идёт война. Их нет. Ни одного затемнения. Ни одного разрушенного здания. Ни одной очереди

за хлебом. В порту работают пассажирские линии, ходят по расписанию. В школах учатся. В третьем секторе строят жилой квартал — новый, не восстанавливают, а строят.

— Цены? — спросил Строев.

— Выросли. По четырём позициям, которые я проверял: хлеб — на треть за три года, мясо — вдвое, топливо для бытовых нужд — втрое и по карточке. Это единственная карточка, какую я нашёл: на бытовое топливо. Больше карточек нет.

— То есть люди живут.

— Люди живут, ваше превосходительство, — повторил Штоф. — И вот тут я обязан доложить второе, и второе хуже первого.

Он вынул из пачки лист.

— Это я снял с окна дома на третьем кольце. Не сорвал, а списал: у них на окнах вывешивают.

Лист был печатный, узкий, в две колонки. Список фамилий с датами.

— Это что? — спросил Ольсен.

— Это их убитые. По кварталу, за квартал. Вывешивают на дом, где кто-нибудь погиб. Я обошёл двенадцать домов на одной улице. На девяти висит.

В комнате стало тихо.

— Я посчитал по своей улице и прикинул на кольцо, — возразил Штоф. — Ваше превосходительство, у них выбито примерно то же, что у нас. Может, чуть меньше. Тут нет войны в домах, но она есть в семьях, и это, — он поискал слово, — это, я вам скажу, страшнее нашего. У нас человек знает, за что: у него узел горел, у него эвакуация, он сам эти три года прожил. А тут война где-то далеко, три года, и просто раз в квартал приходит бумага.

Строев кивнул медленно.

— Дальше, Карл.

Штоф помолчал.

— Дальше — третье, ваше превосходительство, и я его нарочно оставил последним, потому что не знал, как доложить.

— Докладывайте как есть.

— Я их видел, — произнёс Штоф.

Я поднял голову.

— Кого?

— Наших, — сказал Штоф. — Угнанных.

В комнате никто не пошевелился.

— Как это было, — сказал Штоф, и голос у него стал очень ровный, тот самый ровный голос, каким он два года говорил в эфире чужие легенды. — На третьи сутки я был в порту нижнего яруса, в столовой при грузовом причале, с моим сопровождающим — его зовут Ханно, ему двадцать шесть, он из протокольной части, славный малый и, между прочим, добросовестный: он мне за четверо суток ни разу не соврал.

— Дальше.

— И там за дальним столом сидели человек восемь, — подтвердил Штоф. — В рабочем. Ели. И говорили между собой — тихо, но я услышал.

— Что услышали?

— Ничего, ваше превосходительство, — ответил Штоф. — Ни одного слова не разобрал. Я услышал выговор.

Он посмотрел на свои руки.

— Северный, — начал он. — Гердановский. С этим их «о» на конце, которое я три года слушал на причалах, когда мы людей принимали. — Он поднял глаза. — Я умею отличать выговор с восьми шагов, ваше превосходительство, это моя работа. Это были наши.

Ответил я не сразу.

— Что вы сделали, Карл? — спросил я.

— Ничего, — закончил Штоф. — Доел и вышел.

— Почему?

— По двум причинам, ваше превосходительство, и обе ваши, — отозвался Штоф. — Первая: вы мне запретили врать. Подойти к ним при Ханно я мог только соврав — иначе он через час доложит, что офицер имперской делегации разговаривал с восточными рабочими, и через двое суток этих восьмерых переводят куда-нибудь, где мы их уже не найдём никогда. Вторая: если я подойду и назовусь честно — будет то же самое, только быстрее.

Он помолчал.

— Так что я доел, — сказал Штоф. — Я, ваше превосходительство, за двадцать лет службы ни разу так спокойно не сидел и ни разу так не жалел о своей профессии.

Верейская отвернулась к переборке.

— Карл. — Я поставил чашку. — Вы запомнили что-нибудь ещё? Что угодно.

— Всё запомнил, — сказал Штоф и достал вторую бумажку. — Причал шестой, грузовой, третья смена. Восемь человек, возраст на глаз от тридцати до пятидесяти. Одежда — рабочее платье с нашивкой на левом плече: жёлтый прямоугольник и номер. Номера я списал, вот. Восемь номеров.

Он положил лист.

— И вот ещё, — произнёс Штоф. — Я спросил у Ханно, что за нашивки. Прямо спросил, при них, не понижая голоса, потому что понижать было бы подозрительно. Он ответил, не задумываясь и без всякого смущения: «Восточные рабочие. По привлечению».

— По привлечению, — повторил я.

— По привлечению, ваше превосходительство. Он это сказал так, как у нас говорят «вольнонаёмные».

Прокурор пришёл на четвёртые сутки, и вид у него был как у человека, который проиграл партию, о которой не знал.

— Господин командующий. Официальное издание уложения о занятых территориях, полученное через нейтральную посредническую службу, с отметкой канцелярии Конкордата. Статья о возврате перемещённых лиц не отменена.

— Хорошо.

— Плохо, — сказал прокурор и открыл на закладке. — К статье три года назад издано разъяснение. Номер, дата, орган — ведомство безопасности. Разрешите зачитать.

— Читайте.

— «В целях единообразного применения разъясняется: под лицами, перемещёнными в порядке трудовой повинности, следует понимать лиц, перемещение которых произведено принудительно, без их согласия, удостоверенного в установленной форме. Лица, привлечённые к работам на основании личного письменного согласия, к числу перемещённых в порядке трудовой повинности не относятся, и положения настоящей статьи на них не распространяются».

В архивной комнате было очень тихо.

— То есть, — сказал я, — они не отменили статью. Они добавили к ней слово «согласие».

— Так точно, — сказал прокурор.

— И три года назад, — сказал я, — то есть примерно тогда же, когда начал действовать приказ о трудовом ресурсе.

— За семь недель до него, господин командующий. — Он поправил манжету. — Я сверил даты.

Строев, слушавший молча, поднял тяжёлые веки.

— Нахимов, — сказал он. — Вы понимаете, что это значит?

— Понимаю, ваше высокопревосходительство, — сказал я. — Это значит, что за семь недель до того, как начать угонять людей, кто-то в этой стране сел и написал бумагу, делаю-

щую возврат необязательным. Не после — до. Это значит, что вся операция с самого начала планировалась вместе с её юридическим прикрытием.

— И это значит, — сказал Строев, — что мы с вами едем воевать не с армией. Армия так не умеет.

— Прокурор. Кем подписано разъяснение?

Прокурор перевернул лист.

— Никем, господин командующий, — проговорил он. — Подпись: «Ведомство безопасности Конкордата». Без фамилии и без должности.

Я встал и прошёлся по архивной комнате.

Восемнадцать комнат, вода, тепло, свет. Четверо суток, подаренные нам, чтобы мы привыкли ждать. Восемь человек в рабочем платье с жёлтой нашивкой на левом плече, обедающих в портовой столовой в тридцати верстах отсюда. Три года назад изданное разъяснение без подписи.

— Господа, — заметил я. — Обстановка ясна, и я её объявлю, чтобы дальше мы работали без иллюзий.

Все смотрели на меня.

— Наш главный довод — их собственная статья — обесценен три года назад, заранее, разъяснением, которого мы не знали. К первому заседанию мы приходим слабее, чем выезжали. Это первое.

— Второе. Их позиция будет такова: угнанных не было. Были привлечённые по личному письменному согласию. И у них, я вам это говорю заранее, будут бумаги: не может быть, чтобы люди, издавшие разъяснение за семь недель, не собирали согласий все три года.

— И третье. — Я оперся о стол. — Господа, прошу отнестись серьёзно. Вот это третье — единственное, ради чего стоило потратить четверо суток.

Я взял со стола лист Штофа с восемью номерами.

— Наши люди не спрятаны, — пояснил я. — Они не в лагерях за колючей проволокой, откуда их не достанешь. Они ходят по этому городу с жёлтой нашивкой на плече, обедают в портовых столовых, и всякий встречный отвечает про них не таясь: «восточные рабочие, по привлечению».

— И что это нам даёт? — спросил Ольсен.

— Это даёт нам всё, капитан-лейтенант. Потому что человек, которого прячут, — это преступление, которое отрицают. А человек, которого не прячут, — это порядок, который признают. Отрицать они не будут: им нечего отрицать, у них всё законно, у них разъяснение. Значит, воевать мы будем не с ложью.

— А с чем?

— С законностью, — ответил я. — И это, господа, гораздо труднее, но у этого есть одно преимущество, которого не бывает у лжи. Законность оставляет бумаги. Четыре тысячи семь человек, привлечённых по личному письменному согласию, — это четыре тысячи семь личных письменных согласий, и каждое где-то лежит.

Я положил лист.

— Семён Семёнович. К первому заседанию подготовьте требование о предъявлении.

— Чего? — спросил Пухов.

— Согласий. — Я взял следующий лист. — Всех. Поимённо, по каждому из четырёх тысяч семи, с указанием даты, места и должностного лица, принявшего согласие.

Пухов записал и, не поднимая головы, сказал:

— Господин командующий. Они их не предъявят.

— Разумеется, не предъявят, — подтвердил я. — Семён, я на это и рассчитываю. Мне не нужны их бумаги. Мне нужно, чтобы требование о предъявлении было внесено в протокол

первого заседания и повторялось на каждом следующем, дословно, одной и той же формулировкой, с указанием, что ответ не получен.

Бенц пришёл вечером четвёртых суток, официально, с папкой.

— Господин вице-адмирал. Протокольная часть извещает: открытие работы конференции завтра в десять часов, зал заседаний второго корпуса ведомства иностранных сношений. Прилагаю схему размещения делегаций и порядок открытия.

— Благодарю, майор.

Он положил папку и не ушёл.

— Разрешите доложить по протокольному имуществу, — сказал Бенц.

— Докладывайте.

— Растение, находящееся под протокольным арестом, — сказал майор Эрих Бенц, — поливалось трижды, по вторникам и пятницам, отстоянной водой комнатной температуры. Состояние удовлетворительное. Отмечено появление двух новых бутонов, о чём составлена запись в журнале протокольного имущества.

Я взглянул на него.

— Майор. Вы завели журнал на горшок.

— Так точно, господин вице-адмирал, — заметил Бенц. — Всякое имущество, принятое под ответственность протокольной части, подлежит учёту. — Он взял папку под мышку. — У меня всё сходится, господин вице-адмирал. У меня всегда всё сходится.

Он вышел.

Пухов, сидевший в углу с ведомостями, поднял голову.

— Господин командующий. — Он отвёл взгляд. — Разрешите высказать соображение.

— Высказывайте.

— Он нам сейчас сообщил, — сказал Пухов, — что в этом здании есть по крайней мере один журнал, который ведётся правильно.

Глава 7. Первое заседание

Тайный советник Волынцев прибыл за одиннадцать часов до открытия, и я успел составить о нём мнение до того, как он сказал третью фразу.

Ему было под пятьдесят. Он был высок, худ, безукоризненно одет и обладал свойством, которое я встречал у хороших переговорщиков и ни разу — у хороших командующих: он умел смотреть на собеседника с таким выражением, будто целиком согласен с тем, чего собеседник ещё не сказал.

— Вице-адмирал Нахимов, — сказал он, пожимая мне руку. — Наконец. Я вас, признаться, представлял иначе.

— Мне это говорят второй раз за месяц, — заметил я.

— И оба раза, вероятно, имели в виду разное, — продолжил Волынцев. — Садитесь. У нас одиннадцать часов, и я хочу, чтобы к утру мы понимали друг друга, а не притворялись.

Он развернул папку.

— Порядок такой. — Он выпрямился. — Я веду делегацию. Общие заседания — мои. Подкомиссии: политическая — моя, экономическая — моя, военная — адмирала Строева, гуманитарная — ваша с адмиралом Строевым. Всё, что решается в подкомиссиях, выносится на общее заседание и включается в текст соглашения, и вот на этой стадии текст правлю я, потому что подписывать буду тоже я.

— Ясно, — повторил я.

— Не ясно, — сказал Волынцев мягко. — Ясно станет месяца через два. — Он сложил руки. — Вице-адмирал, я вёл четыре соглашения, из которых два были позорные, одно приличное и одно хорошее. Я вам сейчас скажу вещь, которую от меня не ждут, а потом мы больше к ней не вернёмся.

— Слушаю.

— Я приехал сюда за подписанным соглашением, — добавил Волынцев. — Не за хорошим — за подписанным. Так устроено моё ведомство: нас оценивают по числу и срокам, а не по содержанию, и всякий, кто вам скажет, что это не так, либо врёт, либо не служил. Я это знаю про себя и вам сообщаю, чтобы вы не тратили сил на разоблачение.

Я, признаться, не сразу нашёлся.

— Зачем вы мне это говорите? — спросил я.

— Затем, что мне нужно ваше доверие в одном узком вопросе, а купить его иначе нечем, — пояснил Волынцев. — Вице-адмирал, вы будете считать меня своим главным внутренним противником, и в девяти случаях из десяти будете правы. Но есть десятый случай, и он вот какой. — Он поднял глаза. — Когда меня начнут давить из столицы сроками, я приду к вам и скажу: «Отдайте что-нибудь». И вот тогда, если вы к тому моменту будете считать меня подлецом, вы упрётесь во всё сразу, и я вас сломаю по всем пунктам, потому что я это умею, а вы нет. А если будете считать меня человеком с дурной должностью — вы отдадите мне то, что можно отдать, и удержите то, чего нельзя.

— То есть вы предлагаете мне заранее решить, что можно отдать.

— Я предлагаю вам заранее решить, чего нельзя. Остальное я как-нибудь выторгую сам.

Я подумал.

— Тайный советник, — добавил я. — У меня это решено и записано. Три пункта, на бумаге, за моей подписью, на хранении у флаг-интенданта.

Волынцев впервые за разговор изменился в лице.

— Покажете? — спросил он.

— Покажу. — Я обвёл штаб взглядом. — Сейчас же. С одним условием: вы прочтёте и не станете со мной спорить сегодня. Спорить будете через два месяца, когда придёте.

— Согласен, — сказал Волынцев.

Он прочёл три пункта дважды и вернул лист.

— Первый и второй разумны, — уточнил он. — Первый я поддержу, второй — тоже, хотя он мне будет мешать. Третий... — он помолчал. — Третий, вице-адмирал, не переговорная позиция.

— Мне это уже говорил адмирал Строев.

— И правильно говорил. Я добавлю от себя одно, и, пожалуйста, отнеситесь к этому серьёзно. Ваш третий пункт запрещает покупать одного человека ценой другого. Прекрасно. А теперь скажите мне: чем, по-вашему, мы здесь будем заниматься полгода?

— Я знаю, чем мы будем заниматься.

— Тогда вы понимаете, — сказал Волынцев, — что ваш третий пункт запрещает не какую-то особенно мерзкую сделку. Он запрещает механизм переговоров как таковой. — Он встал. — Не спорю, как условились. До утра, вице-адмирал.

Зал заседаний второго корпуса был длинный, светлый и устроен так, что двадцать восемь человек сидели друг против друга на расстоянии четырёх метров.

Мы вошли в десять без четверти.

Делегация Конкордата уже сидела — вся, семнадцать человек, и это тоже был протокол: принимающая сторона занимает места первой.

Я шёл третьим, за Волынцевым и Строевым, и, идя, смотрел вдоль их стола.

Юристы. Экономисты. Чиновники ведомства иностранных сношений — этих было видно по манере. Двое военных в мундирах без наград. Двое в штатском, с той особенной неподвижностью, по которой ведомство безопасности узнаётся в любой стране обеих моих жизней.

Крайним справа, у конца стола, где сажают технический персонал, сидел худой человек лет пятидесяти пяти в мундире полковника штабной службы, с папкой, тремя карандашами и стопкой листов, разложенных так, как раскладывает бумаги человек, собирающийся писать много.

Полковник Эрхард Мерц.

Я посмотрел на него ровно столько, сколько смотрят на технический персонал, и перевёл взгляд.

В середине их стола сидел человек, которого я не увидел.

Я говорю это буквально: я прошёл вдоль стола, дошёл до своего места, сел — и обнаружил, что не могу вспомнить, как он выглядит.

Мне пришлось посмотреть второй раз, нарочно.

Генеральному комиссару Хансу Ройтеру было около сорока семи. Среднего роста. Средней полноты. Волосы — не светлые и не тёмные. Костюм — тёмно-серый, хорошего сукна, без единой особенности. Лицо — правильное и совершенно ровное, из тех лиц, которые невозможно описать, не прибегая к сравнению, а сравнить его было не с чем.

Он сидел прямо, положив руки на стол, и смотрел вперёд.

Он не смотрел на нас. Он не изучал имперскую делегацию, как изучали её все семнадцать. Он смотрел в точку между двумя нашими креслами и, судя по всему, продолжал смотреть туда все четыре часа.

Заседание открыл он.

Он взял со стола лист, поднял его на уровень груди и прочёл — ровным негромким голосом, без интонации, с той дикцией, какая бывает у людей, читающих чужой текст, который они видят второй раз в жизни.

— «Правительство Конкордата приветствует делегацию Империи и подтверждает намерение вести переговоры о прекращении военных действий на всех театрах в духе добросовестности и взаимного уважения. Порядок работы конференции определён согласованным регламентом. Объявляю конференцию открытой».

Двадцать девять слов.

Он положил лист и больше не сказал ничего.

Четыре часа.

Дальше говорил его заместитель — чиновник ведомства иностранных сношений по фамилии Гюнтер, лет шестидесяти, велеречивый, опытный, приятный. Он произнёс приветственное слово, изложил порядок работы, ответил на два вопроса Волынцева и внёс первое предложение по повестке.

И вот тут я впервые услышал формулу.

— По указанию председателя делегации, — сказал Гюнтер, — вносится предложение о порядке рассмотрения вопросов повестки.

Я взял стилус и записал эти пять слов.

За четыре часа Гюнтер произнёс их девять раз.

Драка началась на втором часу, и дралась она за одну вещь: за очерёдность.

Предложение Конкордата было простое и, если не знать сути, разумное.

Вопросы повестки распределялись по подкомиссиям: политическая, военная, экономическая и гуманитарная. Заседания подкомиссий проводились по расписанию. Расписание предлагалось такое: политическая — три заседания в неделю, военная — три, экономическая — два, гуманитарная — одно.

— Обоснование, — сказал Гюнтер, — заключается в объёме подлежащих рассмотрению вопросов. Гуманитарная часть содержит, по представленной сторонами описи, четыре пункта. Политическая — двадцать один.

Строев поднял руку.

— Возражение имперской стороны, — сказал он. — Гуманитарная часть содержит четыре пункта, из которых один касается четырёх тысяч семи поимённо установленных лиц. Полагаю, что счёт вопросов надлежит вести не по пунктам, а по существу.

— Замечание будет занесено в протокол.

— Я прошу не занести замечание, — сказал Строев, — а поставить вопрос на обсуждение.

— Вопрос принят к рассмотрению, — сказал Гюнтер.

Строев посмотрел в мою сторону.

Я, признаться, ждал этого момента три месяца, с той самой третьей репетиции, где Пухов трижды вынес меня семнадцатью формулировками, и всё-таки, услышав их живьём, на секунду ощутил то же самое, что тогда: желание возразить.

Я не возразил.

Я поднял руку и, получив слово, сказал:

— Имперская сторона просит внести в протокол настоящего заседания следующее. Первое: имперская сторона предложила определять число заседаний гуманитарной подкомиссии по числу лиц, чьи судьбы подлежат рассмотрению. Второе: предложение не принято и не отклонено, а принято к рассмотрению. Третье: имперская сторона просит указать срок, в течение которого рассмотрение будет завершено.

Гюнтер улыбнулся.

— Срок будет определён дополнительно, — сказал он.

— Прошу занести и это, — проговорил я. — Дословно: «Срок будет определён дополнительно».

— Заносится.

Я посмотрел на конец их стола.

Полковник Мерц писал.

Расписание мы отыграли до двух заседаний в неделю — и отыграли не мы, а Волынцев, и отыграл он его способом, которого я не понял в тот день и оценил через месяц.

Он не спорил о гуманитарной части.

Он потребовал увеличения числа заседаний экономической подкомиссии — с двух до четырёх, — мотивируя это объёмом расчётов по транзитным тарифам, и держался этого требования час двадцать, упорно и скучно, пока Гюнтер не предложил компромисс: экономическая — три, и, «в порядке общей сбалансированности расписания», гуманитарная — два.

— Принято, — сказал Волынцев немедленно.

В перерыве я подошёл к нему.

— Тайный советник. Вам не нужны были четыре заседания по тарифам.

— Мне не нужны были и три, — сказал Волынцев, наливая себе воды. — Вице-адмирал, запомните, если вам когда-нибудь придётся этим заниматься: за столом нельзя просить того, что тебе нужно. За столом просят соседнее, а нужное берут в размен как уступку противнику. — Он выпил. — И, кстати. Я это сделал не для вас. Я это сделал потому, что расписание — единственная вещь, которую можно выторговать в первый день, а в первый день необходимо что-нибудь выторговать, иначе вся делегация полгода будет чувствовать себя битой.

Заседание кончилось в третьем часу.

Вечером, в архивной комнате, Ольсен доложил первое.

— Господин командующий. Хронометраж заседания. Общая продолжительность — четыре часа одиннадцать минут. Генеральный комиссар Ройтер: говорил один раз, двадцать девять слов, читал с листа. За остальное время — ни одного слова, ни одного жеста, ни одного обращения к соседям. Дважды делал знак заместителю: наклон головы на два пальца.

— Знак означал?

— Оба раза после знака заместитель произносил формулу «по указанию председателя», — ответил Ольсен. — Господин командующий, я на этом остановлюсь особо. Формула прозвучала девять раз. Знак был подан дважды. То есть в семи случаях из девяти заместитель ссылался на указание, которого при нас не давалось.

Я записал.

— Дальше.

— Дальше — полковник Мерц, — сказал Ольсен, и вот тут в голосе у него появилось то самое. — Господин командующий, я вёл наблюдение за ним всё заседание, как вы приказали. Он писал непрерывно.

— Насколько непрерывно?

— Буквально, — отозвался Ольсен. — Четыре часа одиннадцать минут, с перерывом на смену листов. Я засекал: он не останавливался дольше чем на восемь секунд.

— Кроме?

Ольсен поднял голову.

— Кроме одиннадцати минут, господин командующий.

Я отложил стилус.

— Излагайте.

— На третьем часу, — сказал Ольсен, — когда обсуждалось расписание гуманитарной подкомиссии и вы вносили ваше требование о занесении в протокол, полковник Мерц перестал писать. Он положил карандаш и одиннадцать минут не притрагивался к бумаге. Потом взял и продолжил.

— Он слушал.

— Он слушал, господин командующий, — повторил Ольсен. — Все четыре часа он записывал. Одиннадцать минут он слушал.

Я довольно долго молчал.

— Ольсен, — произнёс я. — С завтрашнего дня — постоянная задача, с наивысшим приоритетом, отменяющая всё прочее. Хронометраж полковника Мерца на каждом заседании.

Когда пишет, когда перестаёт, сколько длится перерыв и что в это время происходит за столом. Ведите отдельно, храните отдельно, никому, кроме меня, не докладывайте.

— Есть.

— И, капитан-лейтенант. Ни при каких обстоятельствах, ни в какой форме, ни через кого — никаких попыток контакта с ним. Ни разговора в коридоре, ни взгляда, ни записки, ничего. Всякий, кто попробует, вылетит из делегации в тот же день, и я это объявлю всем завтра утром.

— Обоснование? — спросил Ольсен.

— Простое, — начал я. — Мы у них в столице, за их столом, в здании их ведомства, и за нами смотрят. Единственная ценность этого человека — в том, что он сидит на своём месте и пишет. Один разговор в коридоре — и завтра на его стуле будет другой полковник, а его самого отправят туда, откуда не пишут.

Строев, слушавший из угла, поднял веки.

— Нахимов. А вы уверены, что он вообще на нашей стороне?

— Я уверен, что он ни на чьей, ваше высокопревосходительство, — отозвался я. — Он на стороне записи. Это, если позволите, третья сторона, и я на неё за три года насмотрелся: у меня самого такой служит флаг-интендантом.

Пухов в углу перевернул лист и ничего не сказал.

Штаб я собрал в одиннадцатом часу — своих, без Волынцева.

— Господа. Итог первого дня. Докладываю то, ради чего мы сюда ехали.

Все смотрели.

— Клички нет, — сказал я.

Тишина.

— Я смотрел на этого человека четыре часа одиннадцать минут, — заметил я. — Я не помню случая, чтобы четырёх часов не хватило. Ланца я прочёл по одной справке. Обрехта — по одной фразе о весе. Бельского — по первой минуте разговора.

Я положил на стол свои записи.

— Ханс Ройтер сегодня произнёс двадцать девять слов, все — чужие. Он не смотрел ни на кого. Он не пошевелился ни разу, кроме двух наклонов головы. Он не проявил ни раздражения, ни удовольствия, ни скуки. Господа, я не могу сказать о нём ничего — ни хорошего, ни плохого, ни даже того, умён он или глуп.

— И что тогда? — спросил Пухов.

— Тогда — то, о чём я вас предупреждал три месяца назад. — Я перевернул страницу. — Мы не будем ставить ему диагноз. Мы будем составлять документ.

Я взял чистый лист.

— Семён Семёнович. Завтра, на первом заседании гуманитарной подкомиссии, вы подаёте два документа. Первый — том, с приложением о шестидесяти одной строке. Второй — требование о предъявлении личных письменных согласий по каждому из четырёх тысяч семи, с указанием даты, места и должностного лица.

— Готово, господин командующий.

— И третье. Формулировка требования не меняется никогда. Ни при каких их ответах, ни при каких их уточнениях, ни через год. Одна и та же, слово в слово, на каждом заседании, с добавлением одной строки.

— Какой? — спросил Пухов.

— «Повторяется в такой-то раз. Ответ не получен», — кивнул я.

Глава 8. Пункт первый гуманитарный

Гуманитарная подкомиссия собралась на следующее утро в малом зале, и малый зал оказался важнее большого.

Здесь сидели не двадцать восемь, а двенадцать: шестеро с их стороны, шестеро с нашей. Расстояние между столами — полтора метра. Здесь были видны руки.

С их стороны: генеральный комиссар Ройтер — председатель; Гюнтер; юрист от ведомства безопасности по фамилии Лаукс; чиновник ведомства труда; врач; и полковник Мерц с папкой и тремя карандашами.

С нашей: Строев; я; Пухов; прокурор театра; Ольсен; и Верейская — её присутствие Волынцев отстоял накануне, мотивируя тем, что аккредитованное лицо имперской печати обязано присутствовать при рассмотрении вопросов, касающихся гражданских лиц, и я до сих пор не знаю, зачем ему это было нужно.

Открывать полагалось председателю.

Ройтер взял лист.

— «Подкомиссия по гуманитарным вопросам приступает к работе. Слово имеет имперская сторона».

Одиннадцать слов.

Строев наклонился ко мне.

— Ваш выход, — сказал он вполголоса. — Не торопитесь и не смотрите на него. Смотрите на юриста.

Я встал.

— Господин председатель. Имперская сторона представляет первый пункт гуманитарной части: возвращение гражданских лиц, перемещённых с занятых территорий Северного и Западного театров в течение военных действий.

Я сделал знак.

Пухов и Аста Ковач положили на стол том.

Он был большой — четыре переплёта, каждый в ладонь толщиной, — и когда его положили, стол ощутимо просел.

— Имперская сторона представляет поимённый список. — Я посмотрел на карту. — Четыре тысячи семь имён. По каждому имени: фамилия, имя, возраст, место постоянного жительства, дата перемещения, номер эшелона, приёмный пункт. По трём тысячам восьмистам сорока четырём именам установлено место нахождения на момент составления списка.

Юрист Лаукс — сухой человек лет сорока — придвинул к себе первый переплёт и открыл наугад.

Я это предвидел и потому продолжал говорить, не глядя на него.

— Второе. Имперская сторона представляет приложение к списку.

Пухов положил тонкую папку.

— Приложение называется «Строки, не выдержавшие проверки, с указанием причин». В нём шестьдесят одна строка. Тридцать четыре имени заявлены родственниками без подтверждения вторым источником. Девятнадцать имеют расхождение в написании фамилии между заявлением и эшелонной ведомостью. Восемь строк относятся к четырём лицам, заявленным дважды под разными написаниями.

Лаукс поднял голову.

— Простите, — возразил он. — Вы представляете нам список ваших собственных ошибок?

— Мы представляем вам приложение с указанием причин, — сказал я. — По каждой из шестидесяти одной строки указано, что именно не сходится и почему. Общее число имён

в списке уменьшено с четырёх тысяч одиннадцати до четырёх тысяч семи в результате устранения повторов.

В малом зале стало очень тихо.

Юрист Лаукс закрыл переплёт и посмотрел на приложение так, как смотрят на предмет, назначения которого не понимают.

Я взглянул на конец их стола.

Полковник Мерц писал.

— Третье, — проговорил я. — Правовое основание требования.

Прокурор театра встал и положил на стол их официальное издание.

— Уложение Конкордата о занятых территориях, раздел четвёртый, статья о возвращении перемещённых лиц. Разрешите зачитать.

Он зачитал — медленно, полностью, включая заголовок раздела.

— Имперская сторона обращает внимание, — сказал я, когда он кончил, — что настоящее требование основано не на имперском праве и не на конвенциях. Оно основано на действующем законе Конкордата. Мы не просим. Мы указываем на неисполненную обязанность, установленную вами для самих себя сорок лет назад.

Гюнтер начал было говорить — я видел, как он набрал воздуху, — но не успел.

Юрист Лаукс поднял руку и, получив кивок Гюнтера, сказал:

— Разрешите справку по праву.

— Прошу, — кивнул Гюнтер.

— К названной статье, — сказал Лаукс, — три года назад издано разъяснение в целях единообразного применения. Разрешите зачитать.

И зачитал.

Я слушал, глядя не на него, а — по совету Строева — на его руки, и руки были спокойны: он читал текст, который держал наготове, вероятно, с самой той минуты, как узнал состав нашей делегации.

— Таким образом, — сказал Лаукс, закончив, — положения статьи распространяются исключительно на лиц, перемещённых принудительно, без согласия, удостоверенного в установленной форме. Лица, привлечённые к работам на основании личного письменного согласия, к числу перемещённых не относятся.

Он положил лист.

— Имперской стороне известно об этом разъяснении? — спросил он.

— Известно. Имперская сторона получила его официальное издание через нейтральную посредническую службу четверо суток назад.

— В таком случае, — сказал Лаукс, — имперская сторона понимает, что представленный список из четырёх тысяч семи имён требует предварительного установления оснований перемещения по каждому лицу отдельно.

— Понимает, — пояснил я.

— И на каком основании имперская сторона полагает, что перемещение производилось принудительно?

Вот тут я и сделал то, ради чего мы три месяца готовились.

Я не стал отвечать на его вопрос.

— Господин председатель, — сказал я, обращаясь к Ройтеру, который смотрел в точку между нашими креслами. — Имперская сторона вносит на рассмотрение подкомиссии требование о предъявлении. Прошу занести дословно.

Пухов встал и подал бумагу — по три экземпляра каждой стороне и один нейтральным наблюдателям, сидевшим у стены.

— Текст требования, — пояснил я. — «Имперская сторона просит сторону Конкордата предъявить личные письменные согласия на привлечение к работам по каждому из четырёх

тысяч семи лиц, поименованных в представленном списке, с указанием по каждому: даты принятия согласия, места принятия, должности и фамилии должностного лица, принявшего согласие, а также органа, в котором согласие хранится».

Я положил свой экземпляр на стол.

— Обоснование требования, — произнёс я. — Согласно оглашённому разъяснению, различие между лицом, подлежащим возвращению, и лицом, не подлежащим, устанавливается наличием личного письменного согласия. Следовательно, вопрос о применении статьи к каждому из четырёх тысяч семи разрешается предъявлением или непредъявлением одного документа. Имперская сторона просит предъявить.

Тишина в малом зале продолжалась, по хронометражу Ольсена, девятнадцать секунд.

Потом Гюнтер сказал:

— Требование принято к рассмотрению.

— Имперская сторона просит указать срок рассмотрения.

— Срок будет определён дополнительно.

— Прошу занести. Дословно: «Срок будет определён дополнительно».

— Заносится.

Я посмотрел на конец их стола.

Полковник Мерц не писал.

Он держал карандаш в руке и не двигал им, и лицо у него было такое, какое бывает у человека, услышавшего вопрос, на который он двадцать лет знает ответ.

Заседание шло ещё два часа и не дало ничего.

Обсуждались: форма списка, порядок сверки, состав смешанной рабочей группы, порядок допуска представителей сторон к документам. Всё принималось к рассмотрению. Все сроки определялись дополнительно.

На исходе второго часа Строев, до того молчавший, вдруг сказал:

— Господин председатель. Личное обращение к вам, вне порядка. Прошу разрешения.

Ройтер повернул голову — впервые за два дня.

Он посмотрел на Строева, и я, сидевший рядом, впервые увидел его глаза.

Ничего.

Я пишу это не в укор себе. Читать людей по глазам я научился прилично и знаю все обыкновенные состояния: холод, скуку, злобу, страх, расчёт, усталость. Тут не было ни одного из них. Тут было ровное, спокойное внимание — такое, каким смотрят на исправно работающий прибор.

— Прошу, — сказал Гюнтер за него.

— Мне шестьдесят восемь лет, — сказал Строев. — Я в этой должности семнадцать лет и, по всей вероятности, последний раз участвую в переговорах. Я обращаюсь к председателю подкомиссии не как сторона, а как человек, которому недолго осталось врать самому себе.

Он положил ладонь на первый переплёт тома.

— Тут четыре тысячи семь имён, — подтвердил Строев. — Я прочёл их все. Не подряд — по частям, за четыре месяца, по вечерам. Господин председатель, я прошу вас об одном: прочтите этот список сами. Не справку по нему. Не выводы вашего юриста. Сам список.

Ройтер смотрел на него.

— Ваше обращение будет занесено в протокол.

— Я не просил заносить, — начал Строев. — Я просил прочесть.

— Ваше обращение будет занесено в протокол, — повторил Гюнтер тем же голосом.

Строев кивнул и сел.

В коридоре, после заседания, он остановился у окна и минуты две дышал — тяжело, с той одышкой, из-за которой он не вставал дважды.

— Ваше высокопревосходительство, — пояснил я.

— Молчите, Нахимов, — сказал Строев. — Я знаю, что вы хотите сказать. Что я сделал глупость, что личные обращения за столом не работают и что я подарил им строку в протоколе про имперскую сентиментальность.

— Я хотел сказать другое.

— Что?

— Что я тоже так делал, — ответил я. — Один раз, три года назад. Обратился напрямую к чужому командующему поверх всех бумаг, и мне это ничего не дало, и я об этом не жалею.

Строев посмотрел на меня.

— Не жалеете?

— Не жалею, — отозвался я. — За две... за много лет я усвоил, что такие обращения делаются не для противника. Они делаются для тех, кто сидит рядом с ним и слушает.

Строев помолчал.

— Полковник.

— Полковник, — согласился я.

Вечером Ольсен доложил хронометраж, и доклад его был короткий и, признаться, у меня по спине прошло.

— Господин командующий. Заседание гуманитарной подкомиссии, продолжительность четыре часа две минуты. Полковник Мерц не писал в трёх случаях.

— Излагайте.

— Первый: девятнадцать секунд, непосредственно после оглашения требования о предъявлении согласий, — закончил Ольсен. — Второй: четыре минуты сорок секунд, в течение которых он держал карандаш и не двигал им; это время совпадает с обсуждением состава смешанной рабочей группы, то есть с вопросом второстепенным.

— А третий?

Ольсен поднял глаза.

— Третий — семь минут, — произнёс он. — Обращение адмирала Строева и ответ заместителя председателя. Господин командующий, я обязан доложить и вот это, потому что я в этом уверен: во время второго ответа заместителя — того, дословно повторяющего первый, — полковник Мерц закрыл папку.

— Закрыл?

— Закрыл, — ответил Ольсен. — На семнадцать секунд. Потом открыл и продолжил.

Сидел я долго..

— Семён Семёнович. Кличка.

Пухов открыл лист.

— Кому, господин командующий?

— Полковнику Мерцу, — отозвался я. — Я обещал поставить её к третьему заседанию; ставлю ко второму. — Я посмотрел на свои записи. — Пишите: Свидетель.

— Обоснование? — деловито спросил Пухов.

— Обоснование такое, — начал я. — За два заседания этот человек не произнёс ни слова, не подал ни одного знака и не совершил ни одного действия, кроме одного: он писал. И трижды перестал писать — и все три раза ровно там, где происходило то, что записывать нельзя, а забыть невозможно. Такие люди, Семён, есть при всяком дурном деле, и они, как правило, единственные, кто помнит его целиком.

— Метод противодействия? — спросил Пухов.

— Никакого. Записывайте так и подчеркните: «Противодействия не требует. Не трогать. Ни при каких обстоятельствах, ни в какой форме, ни через кого. Единственная ценность — в том, что он на своём месте и пишет».

Прокурор пришёл ко мне поздно, когда все разошлись, и принёс лист.

— Господин командующий. Соображение по существу требования о согласиях. Я его весь вечер проверял и пришёл к выводу, который прошу выслушать сегодня, потому что завтра он мне покажется слишком дерзким.

— Излагайте.

— Они не предъявят согласий. Это мы знали. Но я весь вечер думал, почему именно не предъявят, и вижу три возможности.

— Слушаю.

— Первая: согласий нет вовсе, — проговорил прокурор. — Разъяснение издано за семь недель до приказа о трудовом ресурсе, но само по себе оно не обязывает собирать бумаги: оно только даёт основание утверждать, что бумаги есть. В этом случае наше требование их убивает, и они это знают.

— Вторая?

— Вторая: согласия есть, но не на всех, — сказал прокурор. — По моей оценке, на треть или на половину. Оккупационная администрация — учреждение, а всякое учреждение, получив разъяснение, начинает собирать бумажки, но собирает их неровно: где комендант толковый, там собрал, где нет — там нет. В этом случае они предъявят частично и будут тянуть с остальным.

— И третья?

Прокурор помолчал.

— Третья хуже всех, господин командующий. — Он подождал. — Согласия есть на всех.

— Поясните.

— Их могли собрать позже, — сказал прокурор. — Задним числом. Господин командующий, у людей, которые за семь недель до операции написали для неё юридическое прикрытие, хватит ума и на то, чтобы через год-полтора спохватиться и провести сбор согласий по всем приёмным пунктам. Человек, три года проработавший в чужой стране на положении привлечённого, подпишет что угодно, если ему объяснить, что от этого зависит паёк.

Я взял паузу.

— Прокурор. — Я отодвинул сводку. — Если верна третья возможность, наше требование бесполезно?

— Нет, — ответил прокурор. — Если верна третья, наше требование становится главным оружием всей конференции, и вот почему. Четыре тысячи семь согласий, собранных задним числом, — это четыре тысячи семь бумаг, подписанных в разное время, разными людьми, в разных приёмных пунктах. И среди них обязательно найдутся: согласия, датированные позже даты прибытия эшелона; согласия, подписанные лицами, умершими к этой дате; согласия одинаковым почерком за разных людей. Это не может быть иначе, господин командующий. Так устроен всякий массовый подлог: он рассыпается не на замысле, а на датах.

Я перевёл взгляд на него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.